

Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. 1930- 1945

Автор:

[Альберт Шпеер](#)

Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности.
1930-1945

Альберт Шпеер

Долгие годы Шпеер был очевидцем и непосредственным участником событий, происходивших за кулисами нацистского государства. С сентября 1930 года он – руководитель военного строительства, а с февраля 1942-го – имперский министр вооружения.

Гитлер оценил его способности, и в течение девяти лет Шпеер был в числе приближенных, пользующихся особым доверием фюрера. Приговоренный к двадцати годам тюремного заключения в Шпандау, знаменитый архитектор пытался осмыслить то, что произошло за это время с ним и его родиной.

Альберт Шпеер

Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности

Предисловие

Национал-социалистический период истории Германии до сих пор вызывает острый интерес. Многие вопросы так и остались без ответов. Чудовищность совершенных преступлений, грандиозность побед и поражения остаются предметами непрекращающихся исследований и анализа. Как случилось, что один из главных центров цивилизованного мира стал для миллионов людей камерой пыток? Как кучке преступников удавалось править страной так эффективно, что Германия завоевала большую часть Европы и стремилась на другие континенты, насаждая повсюду свой чудовищный режим, а чтобы свергнуть штандарты со свастикой, развевавшиеся на бескрайних пространствах от Норвегии до Кавказа и Африки, пришлось заплатить тридцатью миллионами человеческих жизней? Что произошло с нацией мыслителей и поэтов, «хороших» немцев, которую знало человечество XIX века? Как умные, образованные, принципиальные, не желавшие никому зла люди вроде Альберта Шпеера оказались вовлеченными в нацистское движение и поддались личному обаянию Гитлера настолько, что смогли принять и тайную полицию, и концентрационные лагеря, и антисемитизм, и опасную риторику арианского героизма, и кровопролитные захватнические войны? Почему они отдали все свои силы на сохранение бесчеловечной власти? Воспоминания человека, который, пожалуй, был самым талантливым членом правящей верхушки Третьего рейха, дают нам ответы на некоторые из поставленных вопросов и позволяют заглянуть за кулисы нацистского государства.

Хотя Альберт Шпеер вступил в национал-социалистическую партию в 1931 году, он никогда по-настоящему не увлекался политикой. Его семья принадлежала к верхушке среднего класса и была одной из самых известных в Мангейме. Процветающая архитектурная фирма Шпеера-старшего позволяла семейству жить на широкую ногу и участвовать в культурной и общественной жизни города. Отец Альберта читал либеральную «Франкфуртер цайтунг», довольно необычную газету для консервативного архитектора, и решительно не воспринимал нацистов, так как считал их более социалистами, чем националистами. В бурной инфляции 1923 года Шпееры понесли финансовые потери, но всегда наслаждались буржуазным комфортом, доступным лишь очень немногим в Германии после Первой мировой войны.

Альберт Шпеер не был одним из миллионов отчаявшихся, сбитых с толку людей, не имевших ни работы, ни места в обществе. Он вступил в нацистскую партию, поскольку речь Гитлера, услышанная им в 1931-м, подстегнула его слабый интерес к политике, а ведь в том году большинству молодых людей с подобным воспитанием и образованием не было никакого дела до Гитлера и его уличных бойцов. Влияние Гитлера на массы колебалось вместе с числом безработных. На

последних свободных выборах в ноябре 1932 года Гитлер получил в «левом» Берлине всего 22,5 процента голосов и даже после пожара в рейхстаге, когда почти 44 процента населения Германии проголосовали за Гитлера, в Берлине национал-социалисты получили лишь 31,3 процента голосов избирателей. Так что свои решения Шпеер принимал сам и без всякого принуждения. Как и многие другие, он искал новое, яркое учение, которое помогло бы привести в порядок его собственные мысли. Он успел поверхностно ознакомиться с различными философскими идеями; он читал Шпенглера, но тот подействовал на него угнетающе; он слышал мрачные предсказания послевоенных интеллектуалов и находил подтверждение их мрачным пророчествам в хаосе и безнадежности общественной жизни. Он отвернулся от многого, на чем был воспитан, так как все прошлые ценности как будто не имели никакого отношения к царившему вокруг хаосу.

Речь, услышанная Шпеером, была обращена к студентам университета и Высшего технического училища. Как всякий ловкий политик, Гитлер менял манеры в зависимости от состава аудитории. В тот день он сменил коричневую рубашку уличного бойца на скромный синий костюм и говорил довольно тихо, но пылко о возрождении Германии. Убежденность Гитлера показалась Шпееру лекарством от пессимизма Шпенглера, и в то же время словно исполнялось пророчество Шпенглера о приходе ИМПЕРАТОРА. Казалось, вот они – добрые вести, всеобъемлющий ответ на угрозу коммунизма и политическое бесплодие веймарских правительств. В то время, когда демократический процесс пробуксовывал, слова Гитлера отвечали чаяниям многих молодых людей, которые к 1931 году убедились в необходимости новых, сильнодействующих средств для лечения серьезнейших недугов Германии. Череда сумбурно составленных коалиционных правительств была не в силах эффективно управлять страной и находить средства для выхода Германии из экономической депрессии, социальной нестабильности и военного бессилия. Необходима была новая партия с новыми решениями, необходим был лидер, понимавший значение силы, закона и порядка. И если кому-то нравилась программа нацистов в целом, то их антисемитизм вполне можно было простить или проигнорировать как преходящую «детскую» болезнь. Как написал в свое время Макиавелли, политические ошибки подобны туберкулезу: их трудно обнаружить и легко вылечить – в начале болезни, их легко диагностировать, но очень трудно лечить – в конце.

Однако не партия как политический инструмент привлекла Шпеера. Его пленила личность фюрера, масштаб программы выздоровления, а позднее – великолепная возможность приложения собственных сил. Именно с помощью

Гитлера и его партии Шпеер мог реализовать свои юношеские амбициозные мечты и достичь высот, коих он даже не мог себе прежде представить. Он старался не замечать зверств, совершаемых национал-социалистической партией и государством, несмотря на то что, как он сам признает, у его ног валялись осколки витрин еврейских магазинов, разбитых в «хрустальную ночь». Все, чего он достиг в своей профессии и позже на ключевых правительственных постах, так ослепило его, что он сумел закрыть глаза почти на все мерзости, способные помешать его целям. Он хотел лишь проектировать и строить, трудиться на благо нового режима, а средств в его руках сосредоточилось в избытке – если не слишком задумываться о том, какова была их цена.

Шпееру выпало много времени, чтобы разбираться с вопросами о собственной роли в Третьем рейхе. Нюрнбергский трибунал приговорил его к двадцати годам тюремного заключения за преступления против человечности и военные преступления. Он отбыл свой срок полностью. Часть этих лет он использовал для написания мемуаров. Они предназначались его детям, но, вероятно, в большей степени ему самому. Шпееру приходилось писать тайно, часто на обрывках бумаги или клочках, оторванных от рулонов, используемых тюремными художниками; он прятал листки в книге, которую будто бы читал, лежа на койке. Затем один из тюремщиков, голландец, бывший подневольный рабочий, нелегально выносил листочки из Шпандау.

Шпееру, как обнаружит читатель, нелегко было оправдать себя в собственных глазах. Когда после пережитого поражения ему открылась горькая правда – какому человеку и какому государству он служил, – он стал безжалостен к самому себе, так же как и к своим сподвижникам. На суде в Нюрнберге Шпеер сказал: он понимает, что рискует своей жизнью, беря на себя, как член гитлеровского правительства, полную ответственность за совершенные преступления, за рабский труд на заводах, находившихся в его подчинении, за сотрудничество с СС, поставлявшими промышленности заключенных концлагерей, и за весьма явное отношение к той власти, которая истребила – хотя без прямого его содействия – шесть миллионов евреев. Ему предъявили обвинения по всем четырем пунктам нюрнбергского обвинительного акта: организация захватнической войны, участие в ней, совершение военных преступлений и преступлений против человечности. Он полностью признал все, что подразумевалось под перечисленными обвинениями, и это было отголоском обвинения его собственной совести: он слишком хорошо служил преступному государству на посту министра вооружений и военного производства.

Суд признал его невиновным по первым двум пунктам. Относительно других обвинений большинство судей (русские проголосовали за смертный приговор) приняли во внимание смягчающие вину обстоятельства, а именно: Шпеер пытался обеспечить рабочих удовлетворительной пищей и жильем, облегчить их участь и создать условия для максимально возможной эффективности их труда. Суд также отметил, что Шпеер открыто выступил против Гитлера (и действительно планировал убить фюрера, когда понял, что тот готов уничтожить Германию лишь для того, чтобы выиграть еще немного времени для себя), а также проявил незаурядное мужество, протестуя против отождествления Гитлером собственной судьбы с судьбой Германии (и это он заявил фюреру, который многих казнил за одни лишь пораженческие настроения).

Судьи, особенно русские, не только из имевшихся улик, но и на деле знали, как много сделал Шпеер для рейха, ибо вооружал Германию в борьбе против внешних и внутренних врагов. Скорее он, а не Геринг, был вторым лицом в рейхе. Одна английская газета даже написала, что к концу войны Шпеер стал более важен для Германии, чем сам Гитлер. В этом утверждении есть доля истины. С приближением к Сталинграду мистическая сила Гитлера постепенно угасала, его решения становились все более и более причудливыми, и именно Шпеер заставлял военную машину рейха работать на полную мощность и увеличивал производство вплоть до 1945 года. И только когда немецкие города уже лежали в руинах, а Гитлер приказал взорвать последние уцелевшие заводы, Шпеер начал понимать то, что давно знали многие его соотечественники, такие, как Гёрделер, Вицлебен и Рудольф Пехель: победы Гитлера ведут к более страшным последствиям для Германии, чем любое поражение.

В тюрьме Шпеер поставил перед собой задачу: выяснить, почему ему понадобилось так много времени, чтобы увидеть ошибочность выбранного пути. Он подверг себя длительному и тщательному самоанализу, чему идеально способствовало тюремное заключение. Имея возможность читать практически любые неполитические книги по своему выбору, он обратился к психологии, философии и метафизике, то есть к тем трудам, которые, по его собственным словам, ни за что не стал бы читать – и даже не помыслил бы об этом – в гражданской жизни. Вспоминая прошлое, он мог заглянуть в себя, задать себе те вопросы, которыми человек задается во время или после глобальных кризисов, но редко может себе позволить, напряженно делая карьеру в современном мире. В тюрьме Шпеер был изолирован от таких насущных проблем, как благополучие собственной семьи и ужасающее состояние страны, которой он помогал вести войну, способствуя тем самым ее уничтожению. Его

главной целью стала попытка объяснить свои действия себе самому. Лучше всего это можно было сделать с помощью записей. Он признавал, что ему нечего терять. Его судили и осудили; он признал свою вину; теперь его работа состояла в том, чтобы понять, что он сделал и почему. Читателю этих мемуаров повезло: ему расскажут – в меру способностей автора, – почему Шпеер делал то, что он делал. Это хроника национал-социалистической Германии, написанная человеком, который находился в самом центре событий, и саморазоблачительный отчет одного из самых талантливых служащих Третьего рейха.

Погруженность во внутренний духовный мир особенно необычна для технократа – такой человек, как Шпеер, работающий с чертежами, занимающийся грандиозными проектами, скорее доведет себя до изнеможения, преобразуя внешний мир и выполняя производственные задачи с использованием всех имеющихся средств. Его обычная деятельность не предполагает самоанализа, но в Шпандау Альберту Шпееру пришлось искать ответы на свои вопросы, не имея возможности обратиться к другим людям; он мог – день за днем и ночь за ночью – обращаться лишь к самому себе. Подобный удел выпадает редко, и Шпеер воспользовался им наилучшим образом. Ему помогло глубокое убеждение в том, что по отношению к нему судьи поступили справедливо; он так же, как и обвинение, был заинтересован в том, чтобы разобраться в происшедшем.

Ему удалось сохранить объективность. В связи с публикацией этой книги в Англии Шпееру предложили встретиться с бывшим главным британским обвинителем лордом Шоукроссом (во время суда сэром Хартли Шоукроссом) и в эфире Би-би-си обсудить Нюрнбергский процесс. Шпеер ответил, что будет рад встретиться с британским, американским или любым другим обвинителем; он не таит зла на людей, которые помогли заключить его в тюрьму на двадцать лет, и он не возражает против встречи со всяким, кто серьезно интересуется историей, в которой он сыграл такую заметную роль.

Вернувшись в Гейдельберг после двадцатиоднолетнего отсутствия, Шпеер делал самые обычные, простые вещи, какие приходится делать человеку, начинающему жизнь с самого начала. Он обосновался в летнем домике над рекой Неккар, где жил ребенком, а поскольку в детстве у него была собака породы сенбернар, он завел себе такую же, что должно было помочь ему вернуться к истокам, навести мосты между исходом отсюда и новой жизнью. Он планировал вновь заняться архитектурой, хотя на этот раз в гораздо меньших масштабах. Люди по-разному воспринимают несчастье. Адмирал Дёниц,

например, не желал обсуждать годы, проведенные в Шпандау. Он говорил, что запер прошлое в сундук и не хочет говорить о нем. Шпеер же, наоборот, с легкостью заговаривает о своем тюремном заключении, даже более того – с безмятежностью.

Разумеется, мотивы могут остаться неясными, несмотря на искренние усилия Шпеера раскрыть их. Вряд ли человек, какими бы благими ни были его намерения, может полностью избавиться от желания видеть себя в свете более выгодном, чем видят его критики. Ханс Франк, соответчик Шпеера в Нюрнберге, писал мемуары в ожидании казни, и именно его высказывание часто цитируют: «Пройдет тысяча лет, но эта вина Германии так и не будет искуплена». Даже испытывая отвращение к себе, Франк не смог не упомянуть в своих воспоминаниях о том, как он уважал закон и как пытался заставить уважать закон фюрера. Так или иначе, он пытался спасти хоть что-нибудь от карьеры, о которой теперь сожалел. Возможно, Альберту Шпееру не удалось полностью освободиться от этой человеческой слабости, но он не пытался ничего скрыть или приукрасить. В нюрнбергском зале суда он поставил на карту свою жизнь и теперь со спокойной уверенностью смотрит в глаза немецким и зарубежным критикам; он сожалеет о совершенных непоправимых ошибках, но убежден, что заплатил за них, сколько мог и сколько сочли необходимым его судьи.

Шпеер все еще двойственно судит о некоторых из сделанных им открытий. Он пишет, что первая его встреча с фюрером состоялась в тот момент его карьеры, когда он был подобен Фаусту, то есть с радостью продал бы душу в обмен на покровителя, который воспользовался бы его талантом архитектора. И действительно, состоялась сделка, напоминающая сделку Фауста с Мефистофелем. Все свои способности и энергию Шпеер охотно отдал в распоряжение Гитлера, при этом конфликтуя со всеми, включая и Гитлера, кто мешал ему целеустремленно выполнять работу. По мере того как Гитлер становился все более своенравным и недоступным, первоначальное восхищение Шпеера постепенно слабело. Когда Гитлер приказал взорвать все в Германии, Шпеер отказался повиноваться и был готов сам убить покровителя, лишь бы предотвратить исполнение его приказов. Тем не менее он прилетел в берлинский бункер под огнем русской авиации и артиллерии за несколько дней до самоубийства Гитлера, чтобы попрощаться.

Шпеер представил нам две версии этого полета. В интервью, опубликованном в «Шпигеле» сразу после освобождения из Шпандау, он сказал, что отправился в Берлин, чтобы попытаться убедить одного из своих ближайших сотрудников,

Фридриха Люшена, покинуть город. Однако в мемуарах история полета изложена несколько иначе. Шпеер пишет, что, не забывая о Люшене, хотел спасти и доктора Брандта, своего старого друга и личного врача Гитлера, попавшего в лапы гиммлеровских СС. На последнем этапе Шпеер узнал, что Брандта уже нет в городе, а до Люшена он добраться не смог, но тем не менее решил продолжить поездку. Теперь он понимает, что летел в Берлин попрощаться с человеком, которому был обязан столь многим и к которому испытывал столь глубокие неоднозначные чувства.

Шпеер все время пытается изображать себя с той же безжалостной объективностью, с какой изображает других. По его словам, он до сих пор радуется тому, что попрощался с конченным человеком, при расставании рассеянно протянув ему вялую руку и не вымолвившим ни слова об их длительном сотрудничестве. Что заставило Шпеера изменить мотивацию того полета? Я предполагаю, что эта перемена – свидетельство постоянного переосмысления причин собственных поступков. Кажется вероятным, что в интервью с репортерами «Шпигеля» он сказал первое пришедшее ему в голову, и только позже, исследуя свои чувства в контексте настоящих мемуаров, он ясно увидел мотивы своего полета в Берлин и понял, что до сих пор не избавился от чар фюрера, которому истово служил многие годы. Шпеер не приукрашивает свой образ. Фон Ширах, товарищ Шпеера по тюремному заключению, освобожденный из Шпандау одновременно с ним, оправдывается тем, что служил Германии так, как понимал свой долг, но Шпеер несет на своих плечах полный груз ответственности за все содеянное и пытается выполнить добровольно взятые на себя обязательства, как бы это ни отразилось на его самооценке. Так что, по моему мнению, на этих страницах возникает история, правдивая настолько, насколько позволяют память и понимание автора.

Тщательный самоанализ не изменяет автору и тогда, когда он говорит о своей роли в преследовании евреев. В реальности Шпеер ни в коей мере не был причастен ни к травле, ни к истреблению евреев. Об истреблении вообще было сравнительно мало кому известно. Многие из тех, кто столкнулся с истреблением вплотную, то есть сами евреи в концентрационных лагерях, даже перед газовыми камерами отказывались верить в жуткие рассказы, которые им доводилось слышать^[1] - С этим поразительным неведением связаны две недавние публикации. Одна, «Истребление голландских евреев», написана Якобом Прессером, который сам был узником концлагеря. Другая – статья Луи де Йонга, директора Голландского института военной документации. Она озаглавлена «Голландцы и Освенцим» и появилась в январском сборнике «Vierteljahrshefte» («Квартальным тетрадей») 1969 г. Мюнхенского института

современной истории.]. Массовые убийства выходили за пределы человеческого воображения и казались неуклюжей пропагандой. Однако пост Шпеера позволял ему узнавать подробности. Он не скрывает, что один из его друзей, гауляйтер Ханке, посетил Освенцим и летом 1944 года предостерег его против подобного визита. Однако у министра вооружений и военного производства не было оснований тревожиться из-за слухов о каких-то фабриках смерти. Ему нужны были узники, способные работать на его заводах, так что он не стал развивать скользкую тему, не попытался заглянуть за кошмарный занавес, на который указал ему Ханке. Он предпочел не знать, предпочел отвернуться и сосредоточиться на собственной грандиозной задаче. Теперь он считает это прискорбной ошибкой – «грехом недеяния», как сказано в Библии, еще более непростительным, чем любое преступление, которое он мог совершить.

Именно по этой причине Шпеер не протестовал против своего приговора, чего нельзя сказать об адмирале Дёнице. Дёниц всегда чувствовал себя несправедливо осужденным; он хранил огромную папку писем от британских и американских морских офицеров, разделявших его точку зрения. Эти офицеры, посылавшие письма по собственной инициативе, советовали ему опротестовать вердикт Нюрнбергского трибунала, приговорившего его к десяти годам тюремного заключения. Что касается Шпеера, то некоторые иностранцы, включая трех начальников тюрьмы, представителей западных держав, считали его приговор слишком суровым и рекомендовали смягчение наказания, однако русские, проголосовавшие за повешение Шпеера, настояли на том, чтобы он отбыл свой срок полностью. Шпеер не жаловался ни на русских, ни на кого бы то ни было. В Шпандау он близко познакомился с русскими тюремщиками; они рассказывали друг другу о своих детях и женах, и ни один из русских никогда не упоминал о прошлом. Шпеер был им благодарен; он понимал, что эти люди наверняка потеряли друзей и родственников по его милости – ведь именно он руководил военной промышленностью Германии – и у них были причины для враждебности. Однако никто не относился к нему враждебно, даже бывший подневольный рабочий, с которым Шпеер подружился в тюрьме. Голландец считал, что в дни его подневольного труда с ним обращались терпимо благодаря заботам Шпеера.

Именно искреннее раскаяние Шпеера, его полное признание совершенных в дни могущества ошибок, собственных слабостей и тонкость его наблюдений делают эту книгу таким необычным документом. Здесь говорится о том, как создается история, о моральной дилемме цивилизованного человека, которому была поручена грандиозная административная задача, поначалу казавшаяся ему более технократической, чем человеческой. Многие из того, о чем рассказывает

нам Шпеер, – это старая история hubris (гордыни), искушения властью и славой и возможностью созидания в героических масштабах. Чувствуя себя творцом истории, легко игнорировать неприятные факты; они уже не кажутся препятствиями для достижения великих целей. Однако когда рухнуло все, ради чего и чем он жил, Шпеер осудил себя более сурово, чем Нюрнбергский трибунал. Именно этот долгий и мучительный путь к прозрению позволяет нам понять: что бы ни потерял Шпеер в сделке с Адольфом Гитлером, то была не его душа.

Юджин Дэвидсон

От автора

«Полагаю, теперь вы начнете писать мемуары?» – спросил один из первых американцев, которых я встретил во Фленсбурге в мае 1945 года. С тех пор прошло двадцать четыре года, из коих двадцать один я провел в тюремной камере. Долгий срок.

И вот я публикую свои мемуары. Я попытался описать прошлое так, как его пережил. Многие сочтут мою точку зрения искаженной или неверной, но как бы то ни было, я рассказал о своем жизненном опыте так, как вижу его сегодня. Я старался не фальсифицировать прошлое. Я стремился не приукрашивать хорошее и не замалчивать ужасы тех лет. Другие участники событий будут критиковать меня, но это неизбежно. Я пытался быть честным.

Одна из целей этих мемуаров – раскрыть некоторые предпосылки, которые почти неотвратимо вели к катастрофам, завершившим тот исторический период. Я пытался показать, что происходит, когда неограниченная власть концентрируется в руках одного человека, и каким был этот человек. На судебном процессе в Нюрнберге я сказал, что если бы у Гитлера могли быть друзья, то я был бы его другом. Я обязан ему как воодушевлением и славой моей юности, так ужасом и сознанием вины последующих лет.

Я обрисовал Гитлера таким, каким он являлся мне, и другим, и в этом образе проступает много привлекательных черт. Гитлер мог казаться человеком, многогранно одаренным и преданным своему делу. Однако чем дальше, тем

больше я чувствовал, что все это лишь поверхностная характеристика, ибо созданный мной образ вступает в противоречие с тем, что я узнал на Нюрнбергском процессе.

Я никогда не забуду рассказ об одной погибшей еврейской семье: муж, жена и дети, обреченные на смерть, стоят перед моими глазами по сей день. В Нюрнберге меня приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Военный трибунал мог ошибиться в исторической оценке, но он попытался разделить вину между обвиняемыми. Наказание – хотя подобные наказания мало пригодны для оценки меры исторической ответственности – положило конец моему гражданскому существованию, однако именно то видение лишило прожитую мной жизнь смысла, и его воздействие оказалось продолжительнее приговора суда.

Альберт Шпеер

Часть первая

Любая автобиография – предприятие сомнительное, ибо исходит из предпосылки о наличии некоего стула, на который человек может сесть и обдумать свою жизнь, сравнить разные ее этапы, проследить за ее развитием и вникнуть в ее смысл. Каждый человек может и безусловно должен исследовать свою жизнь, но он не может увидеть себя даже в данный момент, не говоря уж о всем своем прошлом.

Карл Барт

1. Происхождение и юность

Среди моих предков были и швабы, и бедные крестьяне из Вестервальда, и уроженцы Силезии и Вестфалии. Все они принадлежали к огромному количеству людей, живших тихо и незаметно. Но было одно исключение: наследный рейхсмаршал граф Фридрих Фердинанд фон Паппенхайм (1702–1793)[2 - В

течение шести столетий, начиная с 1192 года, рейхсмаршалы из рода фон Паппенхаймов служили генерал-квартирмейстерами германской армии. К тому же они были начальниками полевой жандармерии и отвечали за военные дороги, транспорт и здоровье солдат. (См.: Bosl K. Die Reichsmmisterialitat. Darmstadt, 1967.)], от которого моя незамужняя прародительница Хюмелин родила восьмерых сыновей, о чьем благополучии благородный отец, похоже, не слишком заботился.

Три поколения спустя мой дед Герман Хоммель, сын бедного лесничего из Шварцвальда, стал к концу жизни единственным владельцем одной из крупнейших в Германии фирм, торговавших станками, и завода точных приборов. Несмотря на богатство, он жил скромно и хорошо обращался с подчиненными. Дед был трудолюбив и умел пробуждать в других желание работать без принуждения, однако, как типичный уроженец Шварцвальда, он мог в полном молчании часами сидеть на лесной скамье и предаваться размышлениям.

Примерно в то же время другой мой дед, Бертольд Шпеер, стал процветающим архитектором в Дортмунде. Он спроектировал множество зданий в вошедшем тогда в моду неоклассическом стиле. Хотя дед умер молодым, оставленных им средств вполне хватило на образование четверым его сыновьям. Успеху обоих моих дедушек способствовала бурная индустриализация Германии, начавшаяся во второй половине XIX века. Правда, следует отметить, что многим, имевшим гораздо лучшие стартовые условия, промышленный бум не помог.

К преждевременно поседевшей матери моего отца в отрочестве я испытывал скорее почтение, чем любовь, видимо, потому, что она была серьезной женщиной с глубоко укоренившимися простыми представлениями о жизни. Обладая несокрушимой энергией, она подавляла все свое окружение.

Я пришел в этот мир в воскресный полдень 19 марта 1905 года в Мангейме под раскаты весеннего грома, заглушавшие, как часто рассказывала мне мама, колокольный звон находившейся неподалеку церкви Христа.

Еще в 1892 году мой отец, которому было тогда двадцать девять лет, основал собственную фирму и стал одним из самых востребованных архитекторов быстро развивающегося промышленного Мангейма. К 1900 году, когда он женился на

дочери богатого бизнесмена из Майнца, он уже сколотил приличное состояние.

В Мангейме мы жили в одном из построенных отцом домов, который соответствовал статусу моих родителей, принадлежавших к верхушке среднего класса. Величественное здание охранялось изысканными коваными железными воротами. Автомобили въезжали во внутренний двор и останавливались перед широкой лестницей, ведущей к столь же величественному парадному входу в богато обставленный дом. Правда, дети – два моих брата и я – обычно пользовались черным ходом и темной, узкой, крутой лестницей, ведущей в ничем не примечательный задний коридор. В элегантно, устланном ковром парадном холле нам, детям, в общем-то нечего было делать.

Детское царство простиралось от наших спален в задней части дома до просторной кухни, через которую мы попадали в изысканную часть четырнадцатикомнатного жилища. Сюда из вестибюля с фальшивым камином, облицованным дорогой плиткой, гостей провожали в большое помещение с французской мебелью и ампирными обоями. Особенно отпечатались в моей памяти сверкающая хрустальная люстра – она до сих пор стоит перед моим мысленным взором. Как и зимний сад, растения и обстановку которого – резную индийскую мебель, вручную вышитые портьеры и обитый декоративной тканью диван – отец приобрел на Всемирной Парижской выставке в 1900 году. Пальмы и другие экзотические растения превращали зимний сад в странный чужеземный мир. Здесь мои родители завтракали, и здесь мой отец собственноручно готовил для нас, детей, булочки с ветчиной, какие любили в его родной Вестфалии. Мои воспоминания о прилегающей к зимнему саду гостиной потускнели, но я помню магическое обаяние обшитой деревянными панелями столовой в неоготическом стиле. За столом могли одновременно разместиться более двадцати человек. Здесь праздновали мои крестины, здесь до сих пор отмечают все семейные торжества.

Моя мать с огромным наслаждением и гордостью поддерживала наш общественный статус одной из самых влиятельных семей Мангейма. В городе было не более – но и не менее – двух-трех десятков семейств, уровень жизни которых мог бы сравниться с нашим. Роскошный образ жизни подразумевал и немалый штат прислуги. Кроме поварихи – которую, по вполне понятным причинам, мы, дети, обожали – в доме имелись судомойка, горничная, шофер, часто дворецкий, и, разумеется, за нами присматривала бонна. Служанки носили черные платья, белые фартучки и белые наколки, а дворецкий щеголял лиловой ливреей с золочеными пуговицами, но роскошнее всех был облачен шофер.

Мои родители изо всех сил старались обеспечить нам счастливое детство, однако между нами стояли их богатство и положение: общественные их обязанности, ведение шикарного дома, бонна и слуги. Меня до сих пор не покидает ощущение искусственности и дискомфорта того мира. Более того, у меня часто кружилась голова и даже случались обмороки. Родители обратились к знаменитому профессору из Гейдельберга, и тот диагностировал у меня «сосудистую недостаточность». Физическая слабость обернулась для меня значительным психологическим бременем, и я рано ощутил на себе давление внешних обстоятельств. Мои друзья и оба брата были гораздо крепче меня и с грубой прямоотой поддерживали во мне чувство неполноценности, которое я испытывал и без их напоминаний.

Несовершенство часто порождает компенсационные силы. Во всяком случае, меня преодоление трудностей научило лучше приспособляться к мальчишечьему миру. Пожалуй, именно последствия детской физической слабости позволили мне впоследствии адаптироваться к трудным обстоятельствам и неудобным людям.

Когда мы выходили из дому в сопровождении гувернантки-француженки, приходилось одеваться опрятнее в соответствии с нашим общественным статусом. Разумеется, нам запрещали играть в городских парках, не говоря уже об улице. Для игр нам оставался лишь двор, немногим просторнее, вместе взятых, наших комнат. За увитой плющом оградой росли два или три задыхавшихся от недостатка воздуха платана, а глыбы известкового туфа изображали грот. К началу весны растительность покрывалась толстым слоем сажи, и мы неизбежно превращались в грязных, далеко не благородного вида детей большого города. Любимой подругой моего дошкольного детства была Фрида Альмендингер, дочь нашего швейцара. Простые и близкие взаимоотношения в ее семье, жившей в скромной, тесной квартирке, странно привлекали меня.

Первые школьные годы я провел в привилегированной частной школе, где детей из высокопоставленных семейств обучали чтению и письму. После этого уютного убежища первые месяцы в обычной средней школе среди хулиганистых соучеников дались мне особенно тяжело. Правда, мой друг Квенцер очень быстро научил меня разным шалостям и играм. Он также убедил меня купить на карманные деньги футбольный мяч. Столь вульгарный поступок ужаснул моих родителей, тем более что его инициатор Квенцер происходил из бедной семьи.

Думаю, что именно в то время и проявилась моя склонность к статистике. Я переписывал из классного журнала в свой «Школьный календарь» все плохие оценки и замечания и каждый месяц подсчитывал, кто больше всех получил взысканий. Безусловно, я не утруждал бы себя подсчетами, если бы не частая угроза самому возглавить тот список.

Архитектурная фирма моего отца, где разрабатывались проекты для застройщиков, находилась рядом с нашим жилищем. Для чертежей пользовались голубоватой прозрачной бумагой, чей запах до сих пор является неотъемлемой частью моих воспоминаний. Югендстиль[3 - Югендстиль - германский модерн. (Примеч. пер.)] не затронул творчество моего отца; в зданиях, построенных по его проектам, чувствуется влияние неоренессанса, а впоследствии образцом ему служил спокойный классицизм Людвиг Хоффмана, ведущего берлинского архитектора.

В отцовской мастерской в возрасте двенадцати лет я создал свое первое «произведение искусства» - подарок отцу ко дню рождения. Это был набросок аллегорических «часов жизни» в разукрашенном завитками корпусе на коринфских колоннах. На рисунок ушли все имевшиеся у меня акварельные краски. Не без помощи отцовских служащих мне весьма убедительно удалось воспроизвести стиль позднего ампира.

До 1914 года у моих родителей было две машины - двухдверный автомобиль для летних прогулок и седан для зимних поездок по городу. С началом войны возникла необходимость беречь шины, но когда удавалось уговорить шофера, он позволял нам, детям, посидеть за рулем в гараже. Именно в те моменты я впервые ощутил опьянение техникой в повседневном мире, еще не изобиловавшем техническими устройствами. В тюрьме Шпандау мне приходилось жить как в XIX веке - без радио, телевидения, телефона, автомобиля. Мне даже не позволялось самому включать или выключать свет. И когда после десяти лет заключения мне разрешили воспользоваться электрополотером, я испытал полный восторг.

В 1915 году я столкнулся еще с одной технической новинкой тех лет. В Мангейме базировался один из цеппелинов, использовавшихся для воздушных налетов на Лондон. Командир и его офицеры вскоре стали частыми гостями в нашем доме. Как-то они пригласили меня и братьев осмотреть их воздушный корабль. Мне было тогда десять лет. Я замороженно замер перед гигантским продуктом технической цивилизации, потом залез в моторную гондолу,

пробрался по темным таинственным коридорам корпуса в гондолу управления. Когда вечером цеппелин поднялся в воздух, командир сделал круг над нашим домом, а офицеры помахали одолженной у нашей мамы простыней. Каждую ночь я дрожал от ужаса при мысли, что цеппелин может загореться и все мои друзья погибнут[4 - В 1917 г. из-за тяжелых потерь пришлось отказаться от использования цеппелинов в воздушных налетах.].

Мое воображение теперь занимала война, наступления и отступления на фронте, страдания солдат. По ночам мы иногда слышали отдаленный гром великой битвы под Верденом. Мое детское стремление к сопереживанию проявилось в том, что я часто несколько ночей подряд засыпал на твердом полу рядом с мягкой кроватью, чтобы разделить лишения, которые испытывали солдаты на фронте.

Мы, как и все население больших городов, пережили и нехватку продовольствия в так называемую брюквенную зиму. Деньги мы не потеряли, но у нас не было ни родственников, ни знакомых в деревне. Моя мать умудрялась готовить из брюквы самые разнообразные блюда, но я часто испытывал такой острый голод, что потихоньку изничтожил целый мешок твердого, как камень, собачьего печенья, сохранившегося еще с мирного времени. Воздушные налеты на Мангейм, по современным меркам вполне безобидные, участились. Одна маленькая бомба попала в соседний дом. Так начался новый этап моего детства.

С 1905 года мы владели летним домиком в окрестностях Гейдельберга. Домик стоял на склоне карьера, откуда, как рассказывали, добывался камень для строительства Гейдельбергского замка, находившегося неподалеку. За карьером поднимались горы Оденвальда. Их покрытые древними лесами склоны были изрезаны тропинками, а с опушек открывался вид на долину Неккара. Здесь все дышало миром; у нас был прекрасный сад и огород, а у соседей – корова. Мы переехали туда летом 1918 года.

Мое здоровье вскоре улучшилось. Каждый день, даже в снегопад или дождь, я топал, иногда переходя на бег, в школу – три четверти часа туда и столько же обратно. Велосипедов в тяжелый послевоенный период было не достать.

Мой путь в школу лежал мимо гребного клуба. В 1919 году я стал его членом и два года был рулевым четверок и восьмерок. Несмотря на еще не очень крепкое здоровье, я вскоре стал одним из самых прилежных гребцов клуба. В шестнадцать лет меня назначили загребным школьной восьмерки, и я принял

участие в нескольких гонках.

Впервые в жизни обуреваемый честолюбием я совершал то, на что прежде не считал себя способным. Возможность управлять командой, задавая ей ритм, возбуждала меня больше, чем перспектива завоевать уважение в довольно тесном мире гребцов.

Следует признать, что по большей части гонки мы проигрывали, но, поскольку спорт был командным, ошибки каждого индивидуума невозможно было оценить. Наоборот, возникало ощущение общего дела. Еще один плюс наших тренировок: необходимость внутренней дисциплины. В те дни я презирал одноклассников, находивших удовольствие в танцах, вине и сигаретах.

Когда мне было семнадцать лет, по дороге в школу я встретил девушку, которой суждено было стать моей женой. Влюбленность способствовала моему прилежанию в учебе, поскольку спустя год мы договорились пожениться, как только я закончу университет. Я давно делал успехи в математике, но теперь приналег и на другие предметы и вскоре стал одним из лучших в классе.

Наш учитель немецкого, восторженный демократ, часто читал нам статьи из либеральной «Франкфуртер цайтунг». Если бы не он, я в школьные годы оставался бы абсолютно аполитичным. Нам прививали консервативно-буржуазные взгляды на мир. Несмотря на революцию, наградившую нас Веймарской республикой, нам продолжали внушать, что распределение и преемственность власти в обществе – часть данного от Бога, освященного веками порядка вещей. Мы оказались в стороне от всех политических течений начала двадцатых годов. В школе не допускалась никакая критика изучаемого материала, не говоря о правящих силах государства, а уж авторитет школьного начальства был непоколебим. Нам никогда не приходило в голову подвергать сомнению установленный порядок, мы подчинялись диктату абсолютистской системы. Более того, в школьном курсе не было социальных наук, которые могли бы приучить нас к самостоятельным политическим оценкам. Даже в выпускном классе на уроках немецкого от нас требовались сочинения сугубо на литературные темы, что совершенно исключало любые размышления о проблемах общества. Все эти ограничения приводили к тому, что у нас не возникало никакого желания интересоваться политическими событиями и вне школьных стен. Еще одно важное отличие от наших дней состояло в том, что мы не могли ездить за границу. Даже если были деньги, не существовало никаких организаций, помогавших молодежи отправиться в заграничное путешествие. Я

считаю необходимым отметить эти недостатки образовательной системы, которые оставили целое поколение беззащитным перед новейшими техническими средствами воздействия на образ мыслей индивидуума.

И дома у нас политические проблемы не обсуждались. Это весьма странно, поскольку отец до 1914 года был убежденным либералом. Каждое утро он с нетерпением ждал «Франкфуртер цайтунг», каждую неделю читал сатирические журналы «Симплициссимус» и «Югенд». Отец разделял идеи Фридриха Наумана, призывавшего к социальным реформам в сильной Германии, а после 1923 года стал последователем Куденхове-Калерги и ревностно отстаивал его паневропейские идеи. Он, пожалуй, с радостью поговорил бы со мной о политике, но я старательно уклонялся от подобных разговоров, а он не настаивал. Политическое равнодушие было характерно для молодежи того периода, разочарованной поражением в войне, революцией и инфляцией, а меня лично оно надежно ограждало не только от формирования политических убеждений, но и от выработки критериев, на которых убеждения основываются. Мне гораздо больше нравилось по дороге в школу заворачивать в парк Гейдельбергского замка и мечтательно разглядывать с террасы руины замка и раскинувшийся внизу старый город. Пристрастие к руинам и лабиринтам старинных улочек сохранилось и впоследствии нашло выражение в страсти к коллекционированию пейзажей, особенно картин гейдельбергских романтиков. Иногда по дороге к замку мне встречался поэт Стефан Георге, излучавший необыкновенное чувство собственного достоинства. В нем ощущалась непреодолимая притягательная сила – наверное, такими были великие проповедники. Когда мой старший брат учился в выпускном классе, он был допущен в близкое окружение Мастера.

Меня же больше привлекала музыка. До 1933 года мне доводилось слушать в Мангейме молодого Фуртвенглера, а позже – Эриха Клайбера. В то время Верди волновал меня больше Вагнера, а Пуччини я считал «ужасным». Я был очарован одной из симфоний Римского-Корсакова. Пятая симфония Малера казалась мне довольно сложной, но нравилась. После одного из посещений театра я отметил, что Георг Кайзер – «самый значительный современный драматург, который в своих произведениях борется с концепцией значения и власти денег». А посмотрев ибсеновскую «Дикую утку», я записал, что лидеры общества просто смешны и нелепы. Роман Ромена Роллана «Жан-Кристоф» усилил мое восхищение Бетховеном [5 - Замечания о музыке и литературе, об оккупации Рура и инфляции взяты мною из писем, которые я писал в то время моей будущей жене.].

Итак, роскошная жизнь в родном доме не нравилась мне не только по причине обычного юношеского бунтарства. Когда я обращался к прогрессивным писателям или искал друзей в гребном клубе и в горных альпийских хижинах, то мной руководило нечто более глубокое, чем просто дух противоречия. Молодые люди моего круга традиционно подыскивали друзей и будущую жену в том замкнутом социальном слое, к которому принадлежали их родители, но меня тянуло к простым сплоченным крестьянским семействам. Я даже испытывал интуитивную симпатию к крайне левым, хотя эта склонность так и не приобрела конкретной формы. В то время у меня была аллергия на любые политические убеждения. Так бы и продолжалось, несмотря на то что я испытывал сильные националистические чувства, как, например, в 1923 году, когда французы оккупировали Рур.

К моему изумлению, мое сочинение на выпускном экзамене оказалось лучшим в классе, и тем не менее, когда директор школы в прощальном обращении к выпускникам сказал, что теперь нам открыта дорога к великим свершениям и славе, я подумал: «Вряд ли это касается меня».

Поскольку я был лучшим математиком школы, то и решил изучать этот предмет далее. Однако отец выдвинул веские причины против моего выбора, и, знакомый, как математик, с законами логики, я согласился с его доводами. Очевидной альтернативой казалась профессия архитектора, которую я, в силу обстоятельств, впитывал с детства, и, к восторгу отца, я решил стать архитектором, как он и мой дед.

Первый семестр я проучился в Высшем техническом училище в Карлсруэ, находившемся неподалеку. Мой выбор был продиктован финансовыми обстоятельствами: инфляция необузданно росла с каждым днем. Мне приходилось еженедельно снимать со счета деньги на жизнь; к концу недели сказочная по числу нулей сумма превращалась в ничто. Из Шварцвальда, где я путешествовал на велосипеде в сентябре 1923-го, я написал: «Здесь все очень дешево! Жилье – 400 000 марок в день, а ужин – 1 800 000 марок. Молоко – 250 000 марок за пол-литра». Шесть недель спустя, незадолго до прекращения роста инфляции, обед в ресторане стоил от десяти до двадцати миллиардов марок, и даже в студенческой столовой – больше миллиарда. За билет в театр приходилось платить от трехсот до четырехсот миллионов марок.

В конце концов финансовые бури вынудили мою семью продать торговую фирму и фабрику покойного деда за ничтожную долю их истинной стоимости, зато в краткосрочных долларовых казначейских векселях. После этого мое месячное содержание увеличилось до шестнадцати долларов, на которые я мог жить беззаботно и даже роскошно.

Весной 1924 года, когда с инфляцией было покончено, я перевелся в Высшее техническое училище Мюнхена. Хотя я учился там до лета 1925 года, а Гитлер после выхода из тюрьмы весной того же года снова привлек к себе внимание, я его деятельности не заметил. В длинных письмах невесте я сообщал только, что засиживаюсь за книгами далеко за полночь, и напоминал о нашей общей цели: пожениться через три-четыре года.

В каникулы мы с моей будущей женой и несколькими приятелями-студентами часто отправлялись в горные походы по Австрийским Альпам. Трудные восхождения приносили нам ощущение реальных достижений. Иногда, несмотря на бури, ледяные дожди и холод, я упрямо убеждал товарищей не останавливаться на полпути, хотя, когда мы все же добирались до вершин, туманы не позволяли любоваться роскошными видами. Люди, жившие в долине и скрытые от нас густой серой пеленой, казались нам жалкими, а себя мы считали выше их во всех смыслах. Молодые и самонадеянные, мы были убеждены в том, что в горы идут только лучшие. Возвращаясь с горных пиков к нормальной жизни долин, я совершенно терялся в городской суете.

Мы искали «близости к природе» и в походах на складных байдарках. В те дни этот спорт еще был в новинку, суденышки самых разных видов и размеров еще не успели заполнить реки. В идеальной тишине мы плыли по течению, а вечерами ставили палатки в самых красивых местах. Неторопливые горные и лодочные походы приносили нам счастье, какое наверняка испытывали наши предки. Даже мой отец в 1885 году предпринял путешествие пешком и в конных экипажах из Мюнхена в Неаполь. Позднее, уже объехав всю Европу на автомобиле, он не раз говорил, что то давнее путешествие было самым прекрасным в его жизни.

Многие наши сверстники искали контакта с природой. Это был не только романтический протест против ограниченности буржуазного образа жизни, но и бегство от все возрастающих сложностей окружающего мира. В городах мы чувствовали его шаткость, а на природе – в горах и речных долинах – ощущали гармонию мироздания. Чем более девственными были горы и речные долины,

тем больше они нас манили. Я не принадлежал ни к одному из молодежных движений, ибо массовость их сводила на нет то благодатное уединение, которого мы жаждали.

Осенью 1925 года вместе с группой мюнхенских студентов-архитекторов я перевелся в Высшее техническое училище, расположенное в одном из районов Берлина – Шарлоттенбурге. Я хотел учиться у профессора Пёльцига, но число мест в его группе было ограничено; поскольку я был не силен в черчении, меня не приняли. В общем-то я уже начинал сомневаться в том, что когда-нибудь стану хорошим архитектором, и принял приговор без удивления. На следующий семестр в училище пригласили профессора Генриха Тессенова, непревзойденного мастера простой изысканности, который верил, что максимальной выразительности в архитектуре можно достичь самыми ограниченными средствами. Его девиз был «Решающий фактор – минимум помпезности». Я немедленно написал своей невесте:

«Мой новый профессор – самый замечательный, самый здравомыслящий человек из всех, кого я когда-либо встречал. Я без ума от него и работаю с величайшим рвением. Он не современен, но в определенном смысле гораздо современнее остальных. Со стороны он кажется лишенным воображения и рассудительным, совсем как я, но в его творениях чувствуется необыкновенная глубина и основательность. У него необычайно острый ум. Я приложу все свои силы, чтобы на следующий год попасть в его «мастер-класс», а еще через год попытаюсь стать его ассистентом. Разумеется, все это слишком оптимистично и в лучшем случае означает лишь намеченный мною путь».

Однако всего через полгода после экзамена я стал ассистентом профессора Тессенова и нашел в нем свой первый катализатор. Он вдохновлял меня семь лет, пока его не сменил некто более могущественный.

Я также глубоко уважал нашего преподавателя по истории архитектуры профессора Даниэля Кренклера. Уроженец Эльзаса, он был страстным археологом и очень эмоциональным патриотом. На одной из своих лекций он разрыдался, показывая нам изображения Страсбургского собора, и лекцию пришлось прервать. У него я написал реферат по книге Альбрехта Гаупта «История германской архитектуры». И в тот же период я писал моей будущей жене:

«Некоторое смешение рас всегда полезно. И если сегодня мы деградируем, то не потому, что мы смешанная раса. В Средние века, когда мы были сильны и совершали экспансию, когда мы изгнали славян из Пруссии, а позже перенесли европейскую культуру в Америку, мы уже были смешанной расой. Мы катимся вниз по наклонной плоскости, поскольку растратили силы; то же случилось в далеком прошлом с египтянами, греками и римлянами. И ничего с этим не поделаешь».

Мои студенческие дни текли на фоне бурной культурной жизни Берлина начала двадцатых годов. Многие театральные постановки произвели на меня неизгладимое впечатление. Среди них «Сон в летнюю ночь», поставленный Максом Рейнгардтом, Элизабет Бергнер в «Святой Иоанне» Бернарда Шоу, Палленберг в версии «Швейка» Пискатора. Правда, и пышные ревю Хареля не оставляли меня равнодушным. С другой стороны, мне совершенно не нравились напыщенность и показной блеск Сесилия Б. де Милля. Я считал его фильмы примерами «американской безвкусицы» и представить себе не мог, что через десять лет создам еще более пышные декорации в реальной жизни.

Но самым главным впечатлением тех лет была всеобщая бедность и безработица. «Закат Европы» Шпенглера убедил меня в том, что мы живем в период упадка, очень похожего на закат Римской империи: инфляция, безнравственность, бессилие германского рейха. А очерк Шпенглера «Пруссачество и социализм» поразил меня презрением к роскоши и комфорту. По этому вопросу взгляды Шпенглера и Тессенова совпадали. Однако, в отличие от Шпенглера, моему учителю будущее не виделось безнадежным. Он иронически относился к модному в то время «культу героев»:

«Возможно, рядом с нами полно неразгаданных «супергероев», которые с высоты своих устремлений и способностей имеют право смеяться над самыми невыразимыми ужасами, рассматривая их всего лишь как мелкое происшествие. Возможно, прежде, чем снова расцветет Ремесло и Провинциальный город, должен выпасть серный дождь. Возможно, только пройдя через все круги ада, народы будут готовы к новому веку процветания». (Заключительные строки трактата Генриха Тессенова «Ремесло и провинциальный городок», 1920.)

Летом 1927 года, проучившись девять семестров, я сдал экзамен и получил лицензию архитектора. Следующей весной, в возрасте двадцати трех лет, я стал самым молодым ассистентом в Высшем училище. На последнем году Первой

мировой войны я зашел к ярмарочной гадалке, и она предсказала мне, что я рано достигну славы и рано уйду в отставку. Теперь я вспоминаю ее предсказание, ибо у меня есть основания предполагать, что при желании я смог бы когда-нибудь преподавать в Высшем техническом училище, как и мой учитель.

Должность ассистента позволила мне жениться. Мы не поехали на медовый месяц в Италию, а, прихватив палатку, отправились на разборных байдарках по цепи уединенных, окаймленных лесами озер Мекленбурга. Мы спустили на воду байдарки в ста метрах от тюрьмы, где мне суждено было провести двадцать лет жизни.

2. Профессия и призвание

Я едва не стал придворным архитектором уже в 1928 году. Аманулла-хан, правитель Афганистана, решив преобразовать свою страну, нанимал для этой цели молодых немецких специалистов. Нашу группу собрал Йозеф Брикс, профессор городской архитектуры и дорожного строительства. Предполагалось, что я буду заниматься городским проектированием и архитектурой, а также преподавать в техническом училище, которое собирались основать в Кабуле. Мы с женой засели за книги о далеком Афганистане, какие только можно было достать. Мы размышляли, какой стиль можно создать на основе уже существующих простых зданий, а картины диких гор навевали мечты о лыжных прогулках. Уже были разработаны весьма выгодные условия контракта, но когда все было улажено, а Аманулла-хан с великими почестями принят президентом Гинденбургом, афганцы совершили государственный переворот и свергли своего правителя.

Я утешился перспективой продолжать работу с Тессеновым. Если честно, меня одолевали дурные предчувствия, и я радовался тому, что свержение Амануллы-хана избавило меня от необходимости принимать решение. Семинар отнимал у меня лишь три дня в неделю, к тому же я имел пять месяцев академического отпуска. Тем не менее я получал 300 рейхсмарок – около нынешних 800 дойчмарок[6 - Все цифры в дойчмарках не учитывают реформы марки 1969 г. Читатель легко может подсчитать эквивалент в долларах США, разделив количество дойчмарок на четыре.], или 200 долларов.

Тессенов лекций не читал и приходил в большое помещение, где проводились семинары, только чтобы проверить работы своих более чем пятидесяти студентов. Это занимало у него от четырех до шести часов в неделю, остальное время студентам приходилось довольствоваться моими указаниями и исправлениями.

Первые месяцы работы оказались очень тяжелыми. Студенты относились ко мне критично и все пытались подловить на какой-нибудь ошибке. Я с трудом преодолевал врожденную робость, да и заказы, которыми я рассчитывал занять свободное время, не спешили сыпаться на меня, может, потому, что я выглядел слишком молодо. Более того, из-за экономической депрессии темпы строительства резко упали. Единственным исключением был заказ на постройку дома в Гейдельберге для родителей моей жены. Здание получилось скромным, за ним последовала еще пара мелких заказов: две гаражные пристройки к виллам в Ванзее и проект берлинского офиса службы, занимавшейся делами иностранных студентов, приезжавших по международному обмену.

В 1930 году мы прошли на двух байдарках по Дунаю от Донауэшингена в Швабии до Вены. Выборы в рейхстаг 14 сентября прошли в наше отсутствие и остались в моей памяти лишь потому, что сильно встревожили отца. НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) получила 107 мест и неожиданно стала главной темой политических дискуссий. Моего отца, уже достаточно раздраженного влиянием социал-демократов и коммунистов, одолевали самые мрачные предчувствия, главным образом из-за социалистических тенденций в НСДАП.

Тем временем и наше Высшее техническое училище стало местом влияния национал-социалистов. Если маленькая группа коммунистически настроенных студентов сосредоточилась на семинаре профессора Пёльцига, то национал-социалисты собрались вокруг Тессенова, так как находили совпадения между его теориями и идеологией национал-социализма, несмотря на то что сам Тессенов оставался решительным противником гитлеровского движения. Тессенов ничего не подозревал о проводимых параллелях. Любой намек на сходство его идей с национал-социалистическими, без сомнения, ужаснул бы его.

Среди прочего Тессенов наставлял: «Стиль исходит от народа. Любовь к родине заложена в человеческой природе. Истинная культура не может быть

интернациональной. Истинная культура рождается только в материнском лоне нации»[7 - Это и следующее утверждения цитируются по неопубликованным запискам Вольфганга Юнгермена, посетившего лекции Тессенова с 1929-го по 1932 г.]. Гитлер также осуждал интернационализацию искусства. Кредо национал-социализма: корни обновления должны быть найдены в родной почве Германии.

Тессенов порицал крупные города и превозносил крестьянские добродетели: «Большой город отвратителен, в нем смешано старое и новое. Большой город - это конфликт, жестокий конфликт. Все хорошее приходится оставлять за стенами больших городов... Там, где урбанизм встречается с крестьянством, крестьянство гибнет. Жаль, что люди больше не могут думать по-крестьянски». В таком же духе выступал и Гитлер. Он кричал о падении нравов в больших городах. Он предупреждал о пагубном влиянии цивилизации, разрушающей, по его словам, биологическую сущность народа. И он подчеркивал огромное значение здорового крестьянства как опоры государства.

Гитлер сумел уловить и другие веяния эпохи, хотя многие из них еще были расплывчаты и неощутимы. Ему удалось сформулировать подспудные чаяния народа и использовать их в своих целях.

Когда я корректировал работы национал-социалистически настроенных студентов, они часто вовлекали меня в политические дискуссии и непременно вспыхивали споры об идеях Тессенова. Изучавшие диалектику студенты легко разбивали мои слабые возражения, заимствованные из отцовского арсенала.

Студенты главным образом черпали убеждения у крайних, и партия Гитлера напрямую обращалась к идеализму этого неприкаянного поколения. В конце концов разве не такие люди, как Тессенов, раздували из искр пламя? Году так в 1931-м он заявил: «Неизбежно явится тот, кто мыслит очень просто. Нынешнее мышление стало слишком сложным. Некультурный человек, например крестьянин, смог бы разрешить все проблемы гораздо проще - именно потому, что он не испорчен. И у него нашлись бы силы для того, чтобы претворить в жизнь свои простые идеи»[8 - Цитируется по памяти.]. Как нам казалось, сие пророчество предвещало пришествие Гитлера.

Гитлер собирался выступить с речью перед студентами Берлинского университета и Высшего технического училища. Мои студенты уговорили пойти и меня. Еще не убежденный, но уже колеблющийся, я поддался на их уговоры.

Собрание проводилось в пивной под названием «Хазенхайде». Грязные стены, узкая лестница, убогий интерьер производили жалкое впечатление. Обычная забегаловка, где рабочие отдыхают за кружкой пива. Помещение было набито битком. словно чуть ли не все берлинские студенты захотели увидеть и услышать человека, которым так восхищались соратники и которого так презирали оппоненты. На лучших местах в центре возвышения восседали многочисленные профессора. Их присутствие придавало происходящему общественную значимость и солидность. Нашей компании тоже удалось устроиться на хороших местах недалеко от кафедры оратора.

Вошедшего Гитлера бурно приветствовали его многочисленные последователи из числа студентов. Этот энтузиазм сам по себе произвел на меня огромное впечатление, но и облик оратора меня изумил. На плакатах и карикатурах я видел Гитлера в военной рубашке с плечевыми ремнями и нарукавной повязкой со свастикой; волосы спадали на лоб. Однако сюда он явился в хорошо сшитом синем костюме и выглядел на удивление респектабельным и скромным. Впоследствии я узнал, что он обладал великим даром приспосабливаться – осознанно или интуитивно – к разному окружению.

Овации не утихали несколько минут, и Гитлер, как будто слегка огорченный, попытался прервать их. Затем тихим голосом, нерешительно и с некоторой застенчивостью он начал даже не речь, а скорее лекцию на историческую тему. Я увлекся, особенно по контрасту с тем, к чему меня готовили его противники. Я ожидал увидеть истеричного демагога, визжащего и дико жестикулирующего фанатика в военной форме, но этого человека не сбили с рассудительного тона даже бурные овации.

Казалось, он откровенно делится своими тревогами о будущем. Его ирония смягчалась легким юмором, его южно-немецкое обаяние напоминало мне о моих родных местах. Сдержанному пруссаку никогда не удалось бы так сильно увлечь меня. Первоначальная застенчивость Гитлера вскоре исчезла; теперь время от времени он повышал голос; он убеждал, но не пытался загипнотизировать аудиторию. Общее впечатление было гораздо глубже смысла самой речи, из которой я мало что запомнил.

Более того, меня подхватила волна энтузиазма, которая казалась мне вполне осязаемой и с каждой фразой возносила вслед за докладчиком все выше и выше. Мой скептицизм, все мои предубеждения разлетелись в пух и прах. Оппонентам Гитлера не дали выступить, и это усилило иллюзию полного единодушия, во

всяком случае, на тот момент. А Гитлер больше не убеждал, он словно почувствовал, что выражает настроение публики, сплотившейся в единое целое. Как будто для него было вполне естественным вести за собой на поводке студентов и часть профессуры двух лучших высших учебных заведений Германии. А ведь в тот вечер ему еще было далеко до единоличного властителя, недоступного для любой критики; он был открыт для нападков со всех сторон.

Вероятно, многие обсудили тот волнующий вечер за кружкой пива; во всяком случае, мои студенты пытались заставить меня остаться. Однако я чувствовал, что должен сам разобраться в своих мыслях, преодолеть смятение. Мне необходимо было остаться одному. Потрясенный, я уехал в ночь в своем маленьком автомобиле, остановился на берегу Хафеля и долго гулял в сосновом лесу.

Мне казалось, что блеснула надежда. Я увидел новые идеалы, новые цели, новые пути. Мрачные предсказания Шпенглера были опровергнуты, и одновременно сбывалось его пророчество о пришествии нового римского императора. Гитлер убедил нас в том, что можно остановить казавшуюся неминуемой угрозой коммунизма, преодолеть безнадежную безработицу и оздоровить экономику Германии. Упоминания вскользь об еврейской проблеме меня не встревожили, хотя я не был антисемитом: и в школьные, и в студенческие дни у меня, как, впрочем, у каждого, были друзья-евреи.

Через несколько недель после столь важного для меня события друзья увлекли меня на манифестацию во Дворце спорта. Выступал Геббельс, гауляйтер Берлина. Он произвел на меня совсем другое впечатление. Любитель красивых фраз, четких и язвительных формулировок, Геббельс подстрекал вопящую толпу ко все более диким взрывам энтузиазма и ненависти. Подобный накал страстей я видел лишь на шестидневных велосипедных гонках. Я почувствовал отвращение, и благоприятное впечатление от речи Гитлера не стерлось, но заметно поблекло.

И Гитлер, и Геббельс умели высвобождать инстинкты толпы и играть на страстях, тлеющих под тонким слоем приличий. Искусные демагоги, они успешно сплавляли рабочих, мелких буржуа и студентов в однородную массу, которой могли манипулировать по собственному усмотрению... Однако с высоты сегодняшнего опыта я вижу, что на самом деле скорее сама толпа формировала и направляла этих политиков в соответствии со своими страстными желаниями и мечтами.

Разумеется, Геббельс и Гитлер умели проникать в чаяния своей аудитории, но в более глубоком смысле они извлекали из нее соки, необходимые для собственного существования. Хотя толпа взрывалась словно по мановению их дирижерской палочки, не они были истинными дирижерами. Тему задавала толпа. Компенсируя нищету, неуверенность, безработицу, это анонимное сборище часами упивалось навязчивыми идеями жестокости и вседозволенности. Людьюми двигал не страстный национализм, а скорее возможность на несколько кратких часов отвлечься от личных несчастий, вызванных развалом экономики, и погрузиться в безумный мир «охоты на ведьм». Гитлер и Геббельс бросили к их ногам «виновных»: обливая грязью евреев и обвиняя их во всех бедах, они пробуждали самые жестокие, самые примитивные инстинкты.

Дворец спорта опустел. Толпы медленно двигались по Потсдамерштрассе. Вдохновленные речью Геббельса, воспрявшие духом, они растеклись по всей проезжей части, перекрыв уличное движение. Поначалу полиция бездействовала, видимо не желая провоцировать толпу, но на боковых улицах стояли наготове конные полицейские и грузовики с дежурными патрулями. Наконец конные полицейские с занесенными дубинками вклинились в толпу, намереваясь расчистить улицу. Впервые мне пришлось наблюдать подобное применение силы. Я возмущался действиями властей и чувствовал единение с толпой, сопереживая ей. Пожалуй, мои чувства не имели политических причин. К тому же фактически ничего особенного не произошло – раненых не было.

На следующий день я подал заявление в национал-социалистическую партию и в январе 1931 года получил партийный билет номер 474481.

В моем решении не было никакого драматизма. И тогда, и впоследствии я почти не чувствовал себя членом политической партии. Я не выбрал НСДАП, а перешел на сторону Гитлера, под чары личности которого подпал с первой же встречи и так до конца от них и не освободился. Его убежденность, особая магия его далеко не благозвучного голоса, странность его весьма банальных манер, обезоруживающая простота решений сложных проблем – все это озадачивало и завораживало меня. Я практически ничего не знал о его программе. Он захватил меня прежде, чем я осознал происходящее.

Меня не излечило даже собрание расистского Союза борьбы за немецкую культуру, хотя на нем резко осуждались многие из идей, которые проповедовал

мой учитель Тессенов. Один из ораторов призвал вернуться к старомодным художественным формам и принципам; он обрушился на модернизм и обругал «Der Ring» («Круг»), общество архитекторов, в которое входили Тессенов, Гропиус, Мис ван дер Роэ, Шароун, Мендельсон, Таут, Беренс и Пёльциг. В этой связи один наш студент послал Гитлеру письмо, в котором возражал против доводов, приведенных оратором, и с мальчишеским восторгом отзывался об обожаемом учителе. Вскоре он получил из партийного штаба стандартный ответ с уверениями в том, что национал-социалисты с величайшим уважением относятся к трудам Тессенова. На нас это событие произвело огромное впечатление, правда, тогда я не рассказал Тессенову о своем членстве в партии[9 - После 1933 г. Тессенову припомнили все обвинения, выдвинутые против него на том собрании, равно как и связь с издателем Кассирером и его окружением. Тессенова объявили политически неблагонадежным и отлучили от преподавания. Однако благодаря своему привилегированному положению я сумел убедить министра образования восстановить профессора в должности. До конца войны он руководил своей кафедрой в Высшем техническом училище Берлина. В 1950 г. Тессенов написал моей жене: «С 1933 года Шпеер стал мне совершенно чужим, но я всегда считал его тем благожелательным человеком, которого знал прежде».]].

Примерно в те же месяцы моя мать увидела шествие отрядов СА по улицам Гейдельберга. Демонстрация дисциплины в период всеобщего хаоса, ощущение энергии в атмосфере полной безнадежности, похоже, покорили и ее. Не услышав ни единой речи, не прочитав ни одной брошюры, она вступила в партию. Казалось, мы оба чувствовали в своих решениях разрыв с либеральными семейными традициями и скрывали членство в НСДАП друг от друга и от отца. Только спустя годы, когда я давно уже входил в близкое окружение Гитлера, мы с матерью по чистой случайности обнаружили, что давно уже оба состоим в партии.

Очень часто даже самый важный шаг в своей жизни – выбор профессии – человек делает весьма легкомысленно, не утруждаясь выяснением сути и различных аспектов выбранной профессии. А вот уже сделав выбор, он склонен отбросить всякую критику и полностью приспособиться к predetermined карьере.

Мое решение вступить в партию Гитлера было принято не по легкомыслию. Почему, например, я охотно подчинился почти гипнотическому воздействию

речи Гитлера? Почему я не подверг ее тщательному, систематическому исследованию, скажем, не задумался над ценностью или бесполезностью идеологий ВСЕХ партий? Почему я не прочитал различные партийные программы или хотя бы «Майн кампф» Гитлера и «Мифы XX века» Розенберга? Можно было ожидать, что я, как интеллеktуал, соберу все документы с той же тщательностью и исследую различные точки зрения с той же непредвзятостью, с которой изучал архитектуру. То, что я этого не сделал, уходит корнями в мое недостаточное политическое образование. Я не умел критично относиться к аргументам моих друзей студентов, очень рано впитавших в себя идеологию национал-социализма.

Если бы я только захотел, то даже тогда смог бы обнаружить, что Гитлер провозглашал экспансию рейха на Восток; что он был отъявленным антисемитом и энтузиастом системы авторитарного правления; что по достижении власти он намеревался уничтожить демократические процедуры и пользоваться лишь силовыми методами. С моей стороны преступлением было уже то, что, будучи человеком образованным, я не разобрался во всем сам, не прочитал книги, журналы и газеты, представлявшие различные точки зрения, не попытался разглядеть истину в тумане мистификации. На том раннем этапе моя вина была так же тяжела, как в конце, когда я работал на Гитлера, ибо возможность знать и тем не менее отмахиваться от знания ведет к прямой ответственности за последствия, а такую возможность я имел с самого начала.

Я действительно видел ряд шероховатостей в партийных доктринах, но предполагал, что со временем они сгладятся, как часто происходило в истории других революций. Решающим было то, что, как мне казалось, я делал выбор между будущей коммунистической Германией и будущей национал-социалистической Германией, поскольку исчез политический центр между этими антиподами. Более того, в 1931 году я по некоторым причинам полагал, что Гитлер эволюционирует к умеренным взглядам, и не сознавал, что природа моих мотивов – соглашательство и приспособленчество. Чтобы попасть в правительство, Гитлер старался казаться респектабельным. Насколько я помню, партия в то время ограничивалась заявлениями о засилье евреев в различных сферах культурной и экономической жизни, требовала сократить количество евреев в культуре и экономике до уровня, соответствующего с их процентным составом в населении Германии. Союз Гитлера со старомодными националистами «Гарцбургского фронта» привел меня к мысли, что между его заявлениями на публичных собраниях и его политическими взглядами можно различить некоторое противоречие. В действительности же Гитлер лишь хотел проложить себе путь к власти любыми доступными средствами.

Даже после вступления в партию я продолжал общаться со своими еврейскими знакомыми, которые также не разрывали отношений со мной, хотя знали или подозревали о моей причастности к антисемитской организации. В то время я был антисемитом не более, чем в последующие годы. Ни в одной из моих речей, писем или поступков нет и намека на антисемитские чувства или фразеологию.

Если бы до 1933 года Гитлер заявил, что через несколько лет начнет сжигать еврейские синагоги, втянет Германию в войну, станет убивать евреев и своих политических оппонентов, он сразу потерял бы и меня, и многих сторонников, завоеванных в предыдущие три года. Геббельс это понимал, ибо 2 ноября 1931 года он опубликовал в «Ангриф» («Наступлении») передовицу, касавшуюся множества новых членов, вступивших в партию после сентябрьских выборов 1930 года. В своей статье он предостерегал партию против проникновения в нее буржуазных интеллектуалов, заявлял, что представителям обеспеченных и образованных слоев общества нельзя доверять так же, как «старым борцам», ибо по своему характеру и принципам они стоят неизмеримо ниже добрых старых партийных товарищей. Правда, Геббельс учитывал интеллектуальный потенциал новообращенных: «Они полагают, что лишь болтовня демагогов привела движение к величию, и теперь готовы присвоить и возглавить его. Вот что они думают!»

Приняв решение вступить в проклятую партию, я впервые отринул собственное прошлое, свое буржуазное происхождение и окружение. Я даже не подозревал, что уже оставил позади «время решений». Если обратиться к формулировке Мартина Бубера, я чувствовал себя «связанным с партией ответственностью». Моя склонность освобождаться от необходимости думать – особенно о неприятных фактах – помогала мне сохранять душевное равновесие. В этом отношении я не отличался от миллионов других людей, и наша душевная леность облегчила успехи и окончательное утверждение национал-социалистической системы. А я думал, что ежемесячной уплатой партийных взносов в размере нескольких марок выполнял свои политические обязательства.

К каким же непредсказуемым последствиям все это привело!

Моя поверхностность еще более усугубила фундаментальную ошибку. Вступив в партию Гитлера, я, по существу, взял на себя ответственность за все, что привело к жестокостям рабского труда, военным разрушениям и гибели

миллионов так называемых нежелательных личностей – к уничтожению справедливости и процветанию всяческих зол. В 1931 году я и представить себе не мог, что четырнадцать лет спустя мне придется отвечать за массу преступлений, с которыми я заранее согласился, вступив в партию. Я еще не знал, что за легкомыслие, беспечность и разрыв с традициями расплачусь двадцать одним годом жизни и никогда не смогу искупить свои грехи.

3. На перекрестке

Картина тех лет была бы более детальной, если бы я говорил главным образом о своей профессиональной деятельности, своей семье и своих наклонностях, ибо мои новые политические интересы играли второстепенную роль в моей жизни. В первую очередь я был архитектором. А как владелец автомобиля я вступил в только что образованный Национал-социалистический автомобильный корпус (НСАК), и, поскольку организация была новой, я стал руководителем Ванзейской секции (в то время мы жили на берлинской окраине Ванзее). Тогда я и не задумывался о серьезной политической работе в партии. Просто я был единственным партийным автовладельцем в Ванзее, а следовательно, и в своей секции. Остальные лишь надеялись получить автомобиль после «революции», о которой они мечтали. А пока, в порядке подготовки, они разузнавали, у кого в этом богатом районе есть подходящие для реквизиции в день «X» машины.

Как руководителя секции, меня иногда вызывали в окружной штаб Западного округа, которым руководил Карл Ханке, простой рабочий, но умный и очень энергичный парень. Под свой будущий штаб он только что арендовал виллу в изысканном Груневальде, поскольку после успеха на выборах 14 сентября 1930 года партия изо всех сил стремилась к респектабельности. Ханке предложил мне обновить интерьер виллы – разумеется, бесплатно.

Мы обсудили обои, шторы, краски. По моему совету молодой крайсляйтер остановился на обоях Баухауза[10 - Баухауз – созданное Гропиусом в 1919 г. и закрытое пришедшими к власти нацистами Высшее художественно-производственное учебное и научно-исследовательское учреждение. (Примеч. пер.)], хотя я и предупредил его, что это «коммунистические» обои. Ханке величественно отмахнулся от моего предостережения: «Мы возьмем лучшее у всех, даже у коммунистов». Он высказал то, что Гитлер и его окружение уже

делали многие годы: подбирали все, обещавшее успех, невзирая на идеологию, – по сути, даже политические лозунги выбирались в зависимости от их влияния на избирателей.

Для стен вестибюля я выбрал ярко-красный цвет, а для кабинетов – ярко-желтый, резко контрастирующий с алыми шторами. Буйством красок я стремился воплотить давнее нереализованное желание попробовать себя в практической архитектуре и, без сомнения, хотел выразить революционный дух, однако мой декор не вызвал однозначного одобрения.

В начале 1932 года жалованье профессорских ассистентов уменьшили – скромный вклад в сбалансирование напряженного бюджета Пруссии. О крупных строительных проектах и речи не шло – экономическое положение оставалось безнадежным. Я был сыт по горло тремя годами существования на ассистентское жалованье, и мы с женой решили, что я оставляю свое место у Тессенова и мы переедем в Мангейм. Управление домами, принадлежавшими моей семье, обеспечило бы нам финансовую независимость и позволило бы мне вплотную заняться архитектурной карьерой, до того времени весьма бесславной.

Обосновавшись в Мангейме, я разослал множество писем окрестным фирмам и деловым друзьям отца, предлагая свои услуги в качестве «независимого архитектора». Естественно, я тщетно ждал застройщика, который пожелал бы нанять двадцатилетнего архитектора. Даже солидные мангеймские архитекторы в те времена сидели без заказов. Я пытался привлечь к себе внимание, участвуя в конкурсах, но моими высшими достижениями были третьи премии, и удалось продать всего несколько проектов. Единственным моим заказом в тот мрачный период был капитальный ремонт лавки в одном из родительских домов.

Партийную жизнь здесь окрашивала беззаботность, присущая баденцам. После захватывающих партийных мероприятий в Берлине, в которые меня постепенно втянули, в Мангейме я ощущал себя членом боулинг-клуба. Поскольку здесь не было автомобильного корпуса, Берлин передал меня в распоряжение моторизованных отрядов СС.

Тогда мне казалось, что я стал полноправным членом, но меня явно считали всего лишь гостем: когда в 1942 году я хотел возобновить свое членство, оказалось, что я никогда не числился в моторизованных СС.

С началом подготовки к выборам, которые должны были состояться 31 июля 1932 года, мы с женой отправились в Берлин, чтобы окунуться в волнующую предвыборную атмосферу и – если получится – чем-нибудь помочь. Постоянный застой в профессиональной жизни явно обострил то, что я считал интересом к политике. Я хотел внести свой скромный вклад в победу Гитлера на выборах. Мы не собирались задерживаться в Берлине дольше нескольких дней, так как давно мечтали пройти на байдарках по озерам Восточной Пруссии.

Я явился к руководителю НСАК Западного округа Берлина Виллю Нагелю, тут же поручившему мне, как владельцу автомобиля, курьерскую связь с местными партийными ячейками. Когда приходилось выезжать в городские районы, где преобладало влияние «красных», мне частенько бывало не по себе. В тех кварталах нацистские отряды, словно загнанные звери, размещались в подвальный, похожих на подземные норы квартирках. Столь же жалкое существование влачили и коммунисты там, где заправляли нацисты. Никогда не забуду озабоченное, испуганное лицо лидера отряда центрального Моабита, в то время одного из самых опасных для нацистов районов Берлина. Люди рисковали жизнью и здоровьем во имя идеи, не подозревая, что их используют для осуществления фантастических целей рвущегося к власти человека.

27 июля 1932 года Гитлера ждали в берлинском аэропорту Штаакен после утренней манифестации в Эберсвальде. Мне поручили привезти связного из Штаакена на место следующей манифестации – Бранденбургский стадион. Трехмоторный самолет коснулся земли и, прокатившись по посадочной полосе, остановился. Из него вышли Гитлер, несколько его сподвижников и адъютантов. Кроме меня и связного в аэропорту практически никого не было. Я держался на почтительном расстоянии, но видел, как Гитлер бранит одного из своих спутников за то, что автомобили запаздывают. Он в гневе ходил взад-вперед и хлестал собачьей плеткой по голенищам высоких сапог, производя впечатление человека сварливого, взбалмошного и не уважающего соратников.

Этот Гитлер разительно отличался от спокойного, цивилизованного человека, который произвел на меня такое сильное впечатление на студенческом собрании. Хотя я особенно не задумывался над увиденным, то был пример его поразительной двуличности, я бы даже сказал, «многоличности». Потрясающая интуиция и актерское мастерство позволяли ему приспособливать свое поведение к самой разной публике, но, оставаясь наедине с приближенными, слугами или адъютантами, он не церемонился.

Наконец прибыли машины. Я посадил связного в свой дребезжащий, двухместный, с открытым верхом родстер и на предельной скорости обогнал автомобильный кортеж. Тротуары на подступах к Бранденбургскому стадиону были забиты социал-демократами и коммунистами. При виде моего пассажира, одетого в партийную униформу, толпа разбушевалась, а когда через пару минут появился Гитлер со своим окружением, демонстранты заполнили проезжую часть улицы. Автомобилю Гитлера пришлось замедлить ход и пробиваться сквозь толпу. Гитлер стоял рядом со своим шофером. Тогда я почувствовал уважение к его мужеству и сохранил это чувство до сих пор. Та сцена стерла отрицательные впечатления от его поведения в аэропорту.

Я остался в своей машине у стадиона и потому не мог слышать речь Гитлера; до меня доносились лишь взрывы аплодисментов, не смолкавшие по несколько минут. Когда партийный гимн ознаменовал окончание мероприятия, мы снова двинулись в путь, ибо Гитлеру еще предстояла третья в тот день речь – на Берлинском стадионе. И здесь на трибунах не было пустого места, а на улице остались тысячи тех, кто не смог попасть внутрь. Толпа терпеливо ждала не один час – Гитлер снова сильно запаздывал. Я доложил Ханке, что Гитлер подъезжает, и новость тут же объявили по громкоговорителям. Разразилась буря аплодисментов – первая и единственная, причиной которой выпало стать мне.

Следующий день предопределил мое будущее. Уже были куплены железнодорожные билеты в Восточную Пруссию, а байдарки дожидались на вокзале. Мы планировали уехать вечерним поездом. Однако в полдень мне позвонили: шеф НСАК Нагель сообщил, что меня желает видеть Ханке, который, получив повышение, теперь был лидером партийной организации Берлинского округа.

Ханке принял меня радостно. «Я еле разыскал вас. Не хотите ли заняться обустройством нового партийного штаба? – спросил он, как только я вошел. – Я сегодня же предложу вашу кандидатуру Доктору[11 - Доктором в партийных кругах всегда называли Геббельса. Не так уж много докторов философии было в те дни среди членов партии.]. Дело очень спешное».

Запоздай тот вызов на несколько часов, я бы мчался в поезде к затерявшимся в глуши озерам Восточной Пруссии и на недели оказался бы вне досягаемости партийного руководства, которому пришлось бы искать другого архитектора. Я оказался тогда на развилке дорог и многие годы считал поворот судьбы,

предопределивший мой дальнейший путь, самым счастливым в своей жизни. Два десятилетия спустя в Шпандау я прочитал у сэра Джеймса Джинса[12 - Джеймс Джинс- английский астрофизик и популяризатор науки. (Примеч. пер.)]:

«Курс поезда через большинство точек маршрута с уникальной точностью задан рельсами. Однако иногда в узловых пунктах открываются альтернативные пути, и поезд может повернуть в любом направлении благодаря весьма незначительному усилию, необходимому для перевода стрелки».

Новый окружной штаб располагался на величественной Фоссштрассе бок о бок с представительствами немецких земель. Я имел возможность наблюдать из задних окон восьмидесятипятилетнего президента фон Гинденбурга, прогуливавшегося – часто в компании политиков и военных – по прилегающему парку. Как сказал мне Ханке, партия желала находиться в непосредственной близости от власти – и даже буквально в пределах прямой видимости, – чтобы создавать необходимое впечатление своей политической значимости. Моя миссия была не столь амбициозной: все снова свелось к минимальным изменениям и перекраске стен. Интерьеры конференц-зала и кабинета гауляйтера также получились довольно скромными – отчасти из-за ограниченности партийных средств, отчасти потому, что я все еще не освободился от влияния идей Тессенова. Правда, эта скромность компенсировалась пышной резьбой по дереву и лепниной, свойственной грюндерству[13 - Грюндерство – массовая лихорадочная организация предприятий, акционерных обществ, банков и т. п., сопровождаемая биржевыми спекуляциями, нездоровым ажиотажем и жульническими махинациями финансовых дельцов. (Примеч. пер.)] начала семидесятых годов XIX века. Мне приходилось работать день и ночь, так как партийная организация срочно нуждалась в штаб-квартире. Гауляйтера Геббельса я видел редко. Подготовка к предстоящим 6 ноября 1932 года выборам занимала все его время, хотя несколько раз, правда без особого интереса, замученный и охрипший, он снисходил до осмотра помещений. Реконструкция закончилась, смета была во много раз превышена, а выборы проиграны. Количество членов партии сократилось. Казначей стонал над непоплаченными счетами и показывал рабочим пустой сейф. Чтобы не обанкротить партию, ее членам приходилось соглашаться на отсрочку зарплаты.

Через несколько дней после окончания работ в названный в его честь окружной штаб приехал Гитлер. Я слышал, что увиденное ему понравилось, и возгордился, хотя не знал точно, хвалил он вынужденную простоту моего творчества или

оставленную в неприкосновенности пышность самого здания.

Вскоре я вернулся в Мангейм, в свою контору. Ничего здесь не изменилось; экономическая ситуация, а с нею и перспективы на получение заказов лишь ухудшились. Политическая обстановка становилась все более запутанной. Один кризис следовал за другим, и мы уже не обращали на них внимания. Для нас ничего не менялось. 30 января 1933 года я узнал из газет, что Гитлер назначен канцлером, но и это поначалу никак не отразилось на моем положении. Как-то я посетил собрание местной партийной ячейки и был поражен низким интеллектуальным уровнем ее членов. «Такие ничтожные личности не могут управлять страной», – мелькнуло в голове. Но тревога моя была напрасной: старый бюрократический аппарат продолжал расторопно править государством и при Гитлере[14 - Особенно в первые годы пребывания у власти Гитлер достигал успехов главным образом благодаря использованию уже существовавших структур. В государственном аппарате по-прежнему трудились старые чиновники, и они же частично решали задачи управления производством, а военных лидеров Гитлер находил среди элиты старой имперской армии и рейхсвера. Неудивительно, что и позже (после того, как я ввел принцип личной ответственности в промышленности) поразительного роста выпуска военной продукции после 1942 г. достигали руководители, пользовавшиеся заслуженной репутацией еще до 1933 г. Важно отметить огромные успехи, достигнутые с помощью сочетания старых, проверенных структур и тщательно отобранных из них чиновников с новой системой Гитлера, однако неустойчивость этой гармонии не подлежит сомнению. Максимум через поколение старая гвардия была бы заменена новыми лидерами, воспитанными согласно новым образовательным принципам в школах Адольфа Гитлера и в «орденсбурген» («орденские замки») – закрытых полувоенных учебных заведениях, целью которых была подготовка нацистской элиты. Даже в партийных кругах многих выпускников этих учебных заведений считали слишком жестокими и высокомерными.].

5 марта 1933 года прошли очередные выборы, а неделю спустя мне позвонил лидер окружной парторганизации Берлина Ханке: «Не хотите ли приехать в Берлин? Здесь для вас наверняка найдется дело». Я сменил масло в нашем маленьком спортивном «БМВ», собрал чемодан, и мы выехали в Берлин, проведя в пути всю ночь. Утром, поспав лишь пару часов, я явился в штаб-квартиру Ханке. «Немедленно отправляйтесь с Доктором. Он хочет осмотреть свое новое министерство», – распорядился Ханке.

В результате я официально вошел с Геббельсом в прекрасное здание на Вильгельмсплац, творение знаменитого архитектора XIX века Карла Фридриха Шинкеля. Несколько сотен человек, ожидавших чего-то, возможно, приезда Гитлера, приветствовали нового министра пропаганды. Я чувствовал – и не только здесь, – будто в Берлин вдохнули новую жизнь. После затяжного кризиса люди казались более энергичными и оптимистичными. Все понимали, что на этот раз произошла не просто обычная смена кабинета – настал час важных решений. Совершенно не знакомые друг с другом люди собирались группами на улицах, болтали о пустяках, смеялись, шумно одобряли политические события. В то же время партийный аппарат незаметно и безжалостно расправлялся с давними политическими противниками, и сотни тысяч людей дрожали от страха из-за своего происхождения, религии или политических убеждений.

Проинспектировав министерство, Геббельс поручил мне перестройку и меблировку самых важных помещений – личного кабинета и залов заседаний. Он отдал официальный приказ начать немедленно, не ожидая оценки стоимости работ и не беспокоясь, найдутся ли необходимые средства. Как впоследствии выяснилось – весьма самодержавное решение, ибо вновь созданному министерству пропаганды еще не было выделено никаких ассигнований, не говоря уж о затеянной реконструкции. Я постарался выполнить заказ с должным уважением к интерьеру Шинкеля, однако Геббельс счел результат недостаточно величественным и всего через несколько месяцев поручил мюнхенским Объединенным мастерским заново и более пышно отделать внутренние помещения.

Ханке добился в новом министерстве влиятельного поста «министерского секретаря» и с потрясающей ловкостью стал заправлять в приемных. Как-то я случайно заметил на его столе набросок праздничного убранства Берлина к ночной манифестации, назначенной на 1 мая на летном поле Темпельхофа. Рисунки возмутили мои революционные и профессиональные чувства. «Это годится разве что для собрания в стрелковом клубе!» – воскликнул я. «Если можете, сделайте лучше», – не растерялся Ханке.

В ту же ночь я набросал проект большой трибуны и трех огромных знамен за нею. Каждое знамя было выше десятиэтажного дома и растянуто на деревянных стойках. Два крайних знамени – черно-бело-красные, а в центре – знамя со свастикой. (Довольно рискованная затея, ибо при сильном ветре знамена превратились бы в гигантские паруса.) Все это предстояло осветить мощными прожекторами. Мой проект был сразу же одобрен, и я поднялся еще на одну

ступеньку карьерной лестницы.

Преисполненный гордости, я показал свои рисунки Тессену, но профессор не изменил своему идеалу основательного ремесленничества. «Вы полагаете, что создали что-то новое? Эффектно, но не более того». Однако Гитлер, как рассказал мне Ханке, пришел в восторг. Правда, Геббельс приписал идею себе.

Через несколько недель Геббельс въехал в официальную резиденцию министра продовольствия. Завладел он ею практически силой, ибо Гугенберг настаивал на том, чтобы резиденция осталась в его распоряжении, ибо должность министра продовольствия была выделена Германской националистической партии. Спор вскоре разрешился сам собой: 26 июня Гугенберг покинул кабинет министров.

Мне поручили реконструировать дом министра, а также пристроить к нему большой зал. Я опрометчиво пообещал закончить все за два месяца. Гитлер не поверил, что я успею к заявленному сроку, и Геббельс высказал сомнения – дабы подстегнуть меня. Я организовал круглосуточные работы в три смены, постарался синхронизировать все строительство до мельчайших деталей, а в последние несколько дней установил огромный сушильный аппарат. Точно к обещанному сроку здание было закончено и меблировано.

Для украшения дома Геббельса я одолжил у Эберхарда Ханфштангля, директора Берлинской национальной галереи, несколько акварелей Эмиля Нольде. Геббельс и его жена восхищались акварелями... пока не приехал Гитлер и не высказал свое полное неодобрение. Министр тут же вызвал меня: «Немедленно уберите картины, они неприемлемы!»

В те первые месяцы после прихода нацистов к власти у нескольких направлений современной живописи, в 1933 году вместе с остальными заклеяменными как «дегенеративные», еще оставался шанс на успех. Ханс Вайдман, старый член партии из Эссена, носивший золотой партийный значок, возглавил отдел изобразительного искусства в министерстве пропаганды. Ничего не зная об эпизоде с акварелями Нольде, он организовал выставку картин, в основном школы Нольде – Мунка, и рекомендовал их министру как образцы революционного националистического искусства. Более осведомленный Геббельс немедленно приказал убрать компрометирующие картины. Когда Вайдман отказался пойти на поводу у министра и отречься от современного искусства, его понизили в должности. Подобное сочетание в Геббельсе власти и подбострастия показалось мне странным. Было нечто

фантастическое в непререкаемом авторитете, которым Гитлер много лет пользовался у своих ближайших соратников даже в таких вопросах, как художественный вкус. И я, легко воспринимавший современное искусство, без возражений принял приговор Гитлера.

Только я закончил заказ для Геббельса, как меня вызвали в Нюрнберг. Это было в июле 1933 года. В Нюрнберге развернулась подготовка к первому съезду теперь уже правящей партии. Победное настроение требовалось выразить даже в декорациях, а местный архитектор не сумел выдвинуть удовлетворительных предложений. Меня доставили в Нюрнберг на самолете, и я сделал несколько набросков. Признаю, что они не блистали свежими идеями, напоминая первомайский проект. Вместо огромных знамен я предложил увенчать Цеппелинфельд гигантским орлом с размахом крыльев в тридцать метров. Орла я прикрепил к деревянной раме, как коллекционную бабочку.

Лидер парторганизации Нюрнберга не осмелился принять решение самостоятельно и послал меня в штаб в Мюнхен. Я взял сопроводительное письмо, поскольку за пределы Берлина моя известность еще не распространилась. В штабе, похоже, относились к архитектуре, в данном случае к оформлению съезда, очень серьезно. Через несколько минут после прибытия я уже стоял с папкой с рисунками в роскошном кабинете Рудольфа Гесса. Не дав мне и рта раскрыть, он заявил: «Такие вопросы решает только фюрер». Гесс позвонил куда-то, быстро переговорил и повернулся ко мне: «Фюрер в своей квартире. Я прикажу отвезти вас к нему». Для меня это был первый намек на то, как воздействовало на подчиненных Гитлера магическое слово «архитектура».

Машина остановилась перед многоквартирным домом по соседству с театром Принца-регента. Я поднялся на два лестничных пролета, и меня впустили в прихожую. Мне бросились в глаза сувениры или подарки весьма низкого качества. Мебель также свидетельствовала о дурном вкусе. Появился адъютант, открыл дверь и сказал небрежно: «Входите». Я вошел и оказался перед Гитлером, могущественным канцлером рейха. На столе лежал разобранный пистолет; видимо, он его чистил перед моим приходом. «Положите рисунки сюда», – коротко сказал он, не глядя на меня, сдвинул в сторону детали пистолета и с интересом, но молча просмотрел мои наброски. «Согласен». Больше ни слова. И опять занялся пистолетом, а я в некотором смятении вышел из комнаты.

Когда я доложил в Нюрнберге о том, что получил личное одобрение фюрера, все безмерно удивились. Если бы организаторы знали, как завораживает Гитлера любой рисунок, в Мюнхен отправилась бы большая делегация, а мне в лучшем случае разрешили бы помаяться где-нибудь за их спинами. Однако в те дни мало кому было известно о хобби Гитлера.

Осенью 1933 года Гитлер поручил своему мюнхенскому архитектору Паулю Людвигу Троосту, который оформил интерьер океанского лайнера «Европа» и перестроил «Коричневый дом», штаб-квартиру руководства НСДАП в Мюнхене, полностью и как можно быстрее реконструировать и меблировать канцлерскую резиденцию в Берлине. Руководитель строительными работами Трооста, будучи мюнхенцем, не имел связей с берлинскими строительными и архитектурными фирмами. Тогда-то Гитлер вспомнил о молодом архитекторе, завершившем пристройку для Геббельса в рекордно короткое время, и назначил меня помощником представителя Трооста. Я должен был выбирать фирмы, вести мюнхенца по лабиринтам берлинского строительного рынка и делать все необходимое для ускорения работ.

Наше сотрудничество началось с тщательного обследования резиденции канцлера, в коем участвовали Гитлер, руководитель работ и я. Шесть лет спустя, весной 1939 года, в статье о прежнем состоянии резиденции Гитлер написал:

«После революции 1918 года здание постепенно ветшало. Большие куски деревянных балок крыши прогнили, а чердачные перекрытия совершенно разрушились... Поскольку мои предшественники не рассчитывали оставаться на должности канцлера более трех – пяти месяцев, то и не считали нужным ни разгрести грязь за теми, кто занимал резиденцию до них, ни заботиться о том, чтобы их преемники жили в условиях лучших, чем они сами. Им не было нужды поддерживать престиж страны перед иностранными державами, поскольку те мало обращали на них внимания. В результате здание пришло в полное запустение: полы, потолки, обои покрылись плесенью или прогнили и во всех помещениях стоял невыносимый запах».

Безусловно, это было преувеличением, и все же не верилось, что можно довести государственную резиденцию до подобного состояния. Полутемная кухня, оборудованная давно устаревшими плитами. На всех обитателей всего одна ванная комната, да и та с сантехникой конца прошлого века. И бесчисленные образцы дурного вкуса: двери раскрашены под натуральный рисунок дерева,

вазы для цветов – грубая имитация под мрамор. Гитлер торжествовал: «Здесь вы можете наблюдать коррупцию старой республики. Даже резиденцию канцлера нельзя показывать иностранцам. Мне было бы стыдно принять здесь хотя бы одного посетителя».

Обход резиденции длился часа три, мы даже поднялись на чердак.

– А эта дверь ведет в соседний дом, – объяснил привратник.

– Как это?

– Отсюда можно пройти по чердакам всех министерств до самого отеля «Адлон».

– Зачем?

– В начале Веймарской республики обнаружилось, что мятежники могут, осадив резиденцию, отрезать канцлера от внешнего мира. Тогда и устроили этот проход, чтобы в крайнем случае канцлер смог уйти.

Гитлер приказал открыть дверь, и мы действительно смогли пройти в соседнее министерство иностранных дел.

– Дверной проем замуровать, – сказал Гитлер. – Нам ничего подобного не понадобится.

С началом реконструкции Гитлер в сопровождении адъютанта появлялся на строительной площадке почти ежедневно в полдень. Он следил за тем, как продвигаются работы, с удовольствием изучал новую планировку. Вскоре строительные рабочие приветствовали его как старого знакомого. Даже присутствие двух эсэсовцев в штатском, ненавязчиво державшихся поодаль, не нарушало идиллической картины. Судя по всему, Гитлер чувствовал себя на стройплощадке вполне непринужденно, однако не гнался за дешевой популярностью.

Мы с руководителем работ неизменно сопровождали его. Гитлер задавал нам вопросы не то чтобы недружелюбно, но очень сжато: «Когда начнут штукатурить это помещение?.. Когда привезут оконные рамы?.. Прибыли из

Мюнхена подробные чертежи? Еще нет? Я сам спрошу об этом профессора (так Гитлер всегда называл Трооста)». Переходим в другую комнату: «А-а, здесь уже оштукатурили. Ну-у, этот потолочный молдинг очень красив. Такие вещи прекрасно удаются профессору... Когда вы собираетесь закончить? Я очень спешу. Сейчас мне приходится довольствоваться маленькой квартиркой статс-секретаря на верхнем этаже. Я не могу никого туда пригласить. Просто смешно, какие скряги правили республикой. Вы видели вход? А лифт? В любом универмаге они гораздо лучше». Лифт и вправду часто застревал и был рассчитан всего на трех человек.

Вот такой стиль поведения избрал Гитлер. Легко представить, какое впечатление производила на меня его непринужденность, ведь, в конце концов, он был не только канцлером, а еще и человеком, который приступил к возрождению Германии: он обеспечивал рабочими местами безработных и начинал претворять в жизнь всеобъемлющие экономические программы. Только много позже на основании кое-каких крохотных улик я начал понимать, что за всей этой простотой крылся точный пропагандистский расчет.

Я уже двадцать или тридцать раз сопровождал Гитлера, когда он вдруг обратился ко мне: «Не хотите сегодня пообедать у меня?» Разумеется, я был польщен неожиданным вниманием к своей особе, тем более что предыдущее поведение Гитлера не предвещало ничего подобного.

Я привык лазить по строительным площадкам, но, к несчастью, именно в тот день на меня с лесов упал лоток с раствором. Должно быть, я с печалью покосился на свой заляпанный пиджак, ибо Гитлер заметил: «Приходите. Мы это уладим».

В его квартире уже собрались гости, среди них был и Геббельс, коего мое появление в столь тесном кругу явно удивило. Гитлер отвел меня в свои личные комнаты, куда лакей принес темно-синий хозяйский пиджак. «Вот, наденьте пока». Итак, я вошел в столовую вслед за Гитлером и сел рядом с ним. Я ему явно понравился, если он отдал мне предпочтение в обход других гостей. Геббельс сделал замечание, которое из-за волнения я тогда пропустил мимо ушей: «О, вы носите значок фюрера[15 - Из членов партии только Гитлер носил золотой значок верховной власти – орла со свастикой в когтях. Все прочие носили круглые партийные значки со свастикой. В остальном пиджак Гитлера ничем не отличался.]. Так это не ваш пиджак?» Гитлер избавил меня от ответа: «Да, это мой».

На том обеде Гитлер впервые обратился ко мне с несколькими личными вопросами и узнал, что именно я спроектировал первомайские декорации. «Значит, вы оформляли и нюрнбергский съезд? О, так это вы приходили ко мне с теми планами! Конечно, вы!.. Никогда бы не подумал, что вы к сроку завершите реконструкцию резиденции Геббельса». Он не спросил, состою ли я в партии. Очевидно, в отношении людей искусства этот вопрос его не волновал. Его не интересовали мои политические убеждения, он хотел как можно больше узнать о моем происхождении, профессиональной карьере, о творениях моего отца и деда.

Годы спустя Гитлер вспоминал:

«Вы привлекли мое внимание во время наших обходов реконструируемой резиденции. Я искал архитектора, которому смог бы доверить свои строительные планы. Мне нужен был молодой человек, ибо, как вы знаете, мои планы простирались в далекое будущее. Мне необходим был архитектор, который и после моей смерти смог бы распорядиться завещанными мной полномочиями. Такого человека я распознал в вас».

После долгих лет бесплодных усилий я в свои двадцать восемь жаждал созидания. За право построить что-то величественное я готов был, как Фауст, продать душу. И вот я нашел своего Мефистофеля, как мне казалось, не менее притягательного, чем Мефистофель Гете.

4. Мой катализатор

По природе своей я был трудолюбив, но для развития талантов и прилива свежей энергии всегда нуждался в особом импульсе. Теперь я нашел катализатор и вряд ли бы мог рассчитывать на более эффективный. Все мои способности мобилизовались для работы огромной важности и интенсивности.

Ради новых целей я пожертвовал главным в своей жизни – семьей. Всецело подпав под влияние Гитлера, я отдался работе. Все остальное перестало иметь значение. Гитлер прекрасно умел вдохновлять своих сотрудников на великие свершения. «Чем грандиознее задачи, тем быстрее растет человек», – любил

повторять он.

За двадцать лет, проведенных в тюрьме Шпандау, я часто задавался вопросом, как бы я поступил, если бы уже тогда разглядел истинное лицо Гитлера и сущность его режима. Ответ банален и удручающ: положение личного архитектора Гитлера быстро стало мне совершенно необходимым. Не достигнув тридцатилетнего возраста, я уже видел перед собой такие волнующие перспективы, о коих любой архитектор мог только мечтать. Более того, напряженность моей работы подавляла любые сомнения, которые могли бы у меня возникнуть. Огромное число вопросов растворялось в ежедневной гонке. Во время работы над мемуарами я с нарастающим изумлением осознавал, что до 1944 года очень редко – практически никогда – не находил времени задуматься о себе и своей деятельности, о смысле своего существования. Теперь же, когда я оглядываюсь назад, мне часто кажется, будто меня захватили чужеродные силы и оторвали от земли и от моих корней.

И больше всего меня тревожит то, что мои нечастые в тот период приступы беспокойства в основном были связаны с моей деятельностью архитектора, с отходом от доктрин Тессенова. В то же время, когда я слышал, как люди вокруг меня объявляли сезон охоты на евреев, масонов, социал-демократов, «свидетелей Иеговы», я считал, что это меня не касается. Я полагал, что не замешан, раз не принимаю личного участия в преследованиях.

Рядовых членов партии приучили к тому, что большая политика слишком сложна для них. В результате каждый чувствовал, что не несет ни за что личной ответственности. Вся система была нацелена на то, чтобы у индивидуумов даже не возникало никаких угрызений совести. Это привело к тотальной стерильности всех разговоров между единомышленниками. Скучно же убеждать друг друга в том, во что и так все верят.

Еще хуже было повсеместное ограничение ответственности до личного поля деятельности. Каждый оставался в пределах своего профессионального круга: архитекторов, врачей, юристов, инженеров, солдат, фермеров.

Профессиональные организации, принадлежность к которым была обязательной, назывались палатами (палата врачей, палата художников), и выбранный термин прекрасно характеризует изолированный, замкнутый образ жизни людей. Чем дольше существовал гитлеровский режим, тем больше интеллектуальные общности замыкались в себе. Если бы этот порядок вещей сохранялся в течение нескольких поколений, то, думаю, одно это привело бы к

упадку рейха, так как мы стали бы кастовым обществом. Меня всегда поражало несоответствие между профессиональным делением и провозглашенной в 1933 году Volksgemeinschaft – народной общностью, ибо первое неизбежно подавляло вторую, во всяком случае, служило ей колоссальной помехой. Неизбежно сложилось общество совершенно изолированных индивидуумов. И хотя сегодня это может прозвучать весьма странно, лозунг «Фюрер предполагает и располагает» не был для нас пустым звуком.

Восприимчивость к такой идеологии закладывалась в нас с юности. Мы черпали наши принципы в системе Obrigkeitsstaat (властного государства) – авторитарной, хотя и не тоталитарной имперской Германии, и как губка впитывали эти принципы в военное время, когда авторитарный характер государства еще более усилился. Вероятно, наше прошлое подготовило нас, как солдат, к тому образу мыслей, с которым мы снова столкнулись при гитлеровском режиме. Строгий общественный порядок у нас в крови. В сравнении с ним либерализм Веймарской республики казался нам слабым, подозрительным и ни в коем случае нежелательным.

Чтобы в любое время быть поблизости от высокопоставленного клиента, я снял под офис художественную студию на Беренштрассе в нескольких сотнях метров от канцелярии. Мои ассистенты, все – молодые парни, работали с утра до позднего вечера, забыв о личной жизни и вместо обеда обычно довольствуясь бутербродами. Не раньше десяти часов вечера мы покидали мастерскую и в изнеможении заканчивали рабочий день в соседнем винном погребе «У Пфальцера», где за легкой закуской обсуждали дневные труды.

Крупные заказы вовсе не сыпались на нас как из рога изобилия. Гитлер изредка подкидывал мелкие, но срочные задания, видимо полагая, что моим главным достоинством является быстрота исполнения. Три окна старого кабинета канцлера на втором этаже рейхсканцелярии выходили на Вильгельмсплац. В начале 1933 года под ними неизменно собиралась толпа и громогласно выражала желание видеть фюрера. Дошло до того, что Гитлер просто не мог работать в кабинете, который, впрочем, и без того не любил. «Слишком маленький. Шестьдесят с небольшим квадратных метров. Сгодился бы для моего помощника, а где принимать государственного гостя? В этом убогом углу? А этот стол уместен разве что для начальника канцелярии», – возмущался фюрер.

Гитлер поручил мне приспособить под кабинет зал, выходящий в сад. В течение пяти лет он работал там, хотя считал новый кабинет лишь временным

убежищем. Но, даже переехав в 1938 году во вновь построенную рейхсканцелярию, он и тамошний кабинет вскоре счел неудовлетворительным. По его указаниям и моему проекту к 1950 году предполагалось построить окончательный вариант рейхсканцелярии. В комплекс должны были войти роскошный кабинет для Гитлера и его преемников в грядущих столетиях – площадью около тысячи квадратных метров, в шестнадцать раз больше его прежнего кабинета. Правда, обговорив проект с Гитлером, я спланировал рядом с парадным кабинетом рабочий почти той же площади, что и первый, то есть около шестидесяти квадратных метров.

Свой старый кабинет Гитлер предполагал использовать для выхода к толпе, для чего я спешно должен был построить «исторический балкон». «Окно было очень неудобно, – с удовлетворением заметил Гитлер после окончания работ. – Меня не видели со всех сторон. И потом как-то несолидно высовываться из окна». Архитектор первого проекта реконструкции рейхсканцелярии, профессор берлинского Высшего технического училища Эдуард Йобст Зидлер, поднял шум из-за того, что я испортил его творение, да и Ламмерс, начальник рейхсканцелярии, согласился с тем, что наша перестройка является нарушением авторского права. Гитлер пренебрежительно отмел их возражения: «Зидлер изуродовал всю Вильгельмсплац. Эта коробка похожа на офис мыловаренной компании, а не на центр рейха. Неужели он думает, что я и балкон ему доверю?» Правда, он умиротворил профессора другим заказом.

Несколько месяцев спустя мне поручили построить бараки для рабочих, занятых на только что начатом строительстве автострады. Гитлер, недовольный бытовыми условиями рабочих, предложил мне создать образец, по которому в дальнейшем можно было бы строить подобные барачные лагеря: с приличными кухнями, умывальнями и душевыми, с комнатами отдыха и жилыми помещениями на двоих. Это был огромный шаг вперед по сравнению с обычными бараками, строившимися в то время. Гитлер настолько интересовался этим проектом, что просил меня докладывать ему о впечатлениях рабочих. Именно такого отношения к простым людям я и ждал от вождя национал-социалистов.

Пока шла реконструкция резиденции рейхсканцлера, Гитлер жил в квартире статс-секретаря Ламмерса на верхнем этаже административного здания. Здесь я часто обедал или ужинал с ним. Вечерами он обычно собирал несколько доверенных соратников: Шрека, который много лет был его шофером; Зеппа Дитриха, начальника его личной эсэсовской охраны; доктора Отто Дитриха, шефа печати; адъютантов Брюкнера и Шауба; Генриха Хоффмана, личного

фотографа. Поскольку за столом умещалось не более десяти человек, то компания практически не пополнялась. За обедом собирались старые мюнхенские товарищи по партии: Аман, Шварц, Эссер, гауляйтер Вагнер. Часто присутствовал Верлин, глава мюнхенского филиала «Даймлер-Бенц» и поставщик личных автомобилей Гитлера. Министров кабинета, а также Гиммлера, Рема и Штрайхера я видел редко, но Геббельс и Геринг были частыми гостями. Уже в то время простых чиновников рейхсканцелярии к столу не допускали. Примечательно, что никогда не приглашали Ламмерса, хотя он был хозяином квартиры; видимо, на то имелись веские причины.

В перечисленном окружении Гитлер часто высказывал свое мнение о дневных событиях, используя часы общения для снятия нервного напряжения. Он любил рассказывать, как справился с бюрократами, угрожавшими парализовать его деятельность на посту рейхсканцлера:

«В первые несколько недель мне приносили на утверждение даже самые мелкие дела. Каждый день я находил на письменном столе груды папок, и, сколько бы я ни работал, их меньше не становилось. Но я положил этому конец. Если бы я пошел на поводу у бюрократов, то никогда ничего не совершил бы, поскольку они просто не оставили бы мне времени на размышления. Когда я отказался просматривать их документы, мне сказали, что застопорится принятие важных решений. Однако я решил расчистить стол, чтобы все силы отдать важным вопросам. Так я стал управлять ходом событий и не дал чиновникам управлять мной».

Иногда он говорил о своих водителях:

«Лучшего шофера, чем Шрек, и представить невозможно. Он выжимал больше 160 км/час. Мы всегда ездили очень быстро, но в последние годы я приказал Шреку не гонять быстрее 80 км/час. Было бы ужасно, если бы что-то случилось со мной. А как забавно было дразнить водителей больших американских машин! Мы держались у них на хвосте, а они пытались оторваться от нас. Эти американские машины – хлам по сравнению с «мерседесами». Их двигатели не выдерживали – быстро перегревались, – и водителям приходилось съезжать на обочину. Видели бы вы их физиономии! И поделом им».

Каждый вечер устанавливали допотопный кинопроектор и показывали новости, а потом один или два фильма. Поначалу слуги очень неуклюже управлялись с аппаратурой. То запросят пленку вверх ногами, то порвут ее. Тогда Гитлер

относился к таким промахам гораздо добродушнее, чем его адъютанты, обожавшие продемонстрировать власть, которую давала им близость к канцлеру.

Выбор фильмов Гитлер обсуждал с Геббельсом. Обычно показывали то же самое, что демонстрировалось в берлинских кинотеатрах. Гитлер предпочитал легкий жанр: любовные фильмы и истории из жизни светского общества. Все фильмы с Эмилем Яннингсом и Хайнцем Рюманом, Хенни Портен и Лиль Даговер, Ольгой Чеховой, Зарой Леандер и Енни Юго он приказывал привозить, как только они выходили на экран. И он явно любил фильмы-ревью с обилием голых ножек. Мы часто смотрели зарубежные киноленты, включая и те, что не показывали немецкой публике. Очень редко попадались фильмы о спорте и альпинизме, флоре и фауне, путешествиях. Гитлер не испытывал склонности и к комедиям вроде тех, которые любил в то время я, – с Бастером Киттоном или Чарли Чаплином. Многие понравившиеся фильмы показывали два и даже более раз, но никогда не повторяли фильмов с трагическим сюжетом. Особенно часто мы смотрели феерии и фильмы с любимыми актерами Гитлера. Его предпочтения и привычка смотреть один-два фильма каждый вечер сохранялись до начала войны.

Как-то за ужином зимой 1933 года мне случилось сидеть рядом с Герингом. «Шпеер перестраивает вашу резиденцию, мой фюрер? Он ваш личный архитектор?» – спросил Геринг. Ничего подобного, но Гитлер ответил утвердительно. «Тогда вы позволите ему реконструировать и мой дом?» Гитлер дал согласие, и Геринг, не спросив моего мнения, после ужина посадил меня в большой открытый лимузин и увез в свою резиденцию, как ценный трофей. Геринг выбрал для себя бывшую официальную резиденцию прусского министра торговли – роскошный дворец, построенный на деньги Пруссии в одном из садов за Лейпцигерплац до войны 1914 года.

Всего несколько месяцев назад эта резиденция была с той же расточительностью переделана по личным указаниям Геринга, опять же за счет Пруссии. Гитлер приехал посмотреть и резко осудил увиденное:

«Мрачно! Как можно жить в такой темноте! Сравните с работой моего профессора. Все ярко, светло и просто!»

Лично я нашел романтичным запутанный лабиринт маленьких комнат с витражными окнами и тяжелыми бархатными портьерами, с массивной мебелью

в стиле ренессанс. Там было нечто вроде алтаря, увенчанного свастикой. Этот новый символ повторялся на потолках, стенах и полах, повсюду. Создавалось ощущение, что в доме непременно должно происходить что-то очень торжественное и трагическое.

Критика Гитлера мгновенно изменила настроение Геринга, что было характерно для той системы и, вероятно, для всех авторитарных форм общества. Геринг тут же отрекся от только что претворенной в жизнь художественной концепции, хотя, видимо, чувствовал себя в новой обстановке вполне комфортно: она соответствовала его характеру. «Я и сам это терпеть не могу, – сказал он мне. – Делайте все по своему усмотрению. Я развязываю вам руки. Только все должно быть как у фюрера». Это был отличный заказ. С деньгами, как обычно, у Геринга проблем не возникало. Мы сломали несколько стен, чтобы превратить множество комнат первого этажа в четыре больших помещения. Самое просторное – кабинет Геринга – получилось сравнимым по площади с кабинетом Гитлера. Добавили пристройку в основном из стеклянных панелей в бронзовом каркасе. С бронзой возникли трудности – она считалась стратегическим металлом, и использование ее во второстепенных целях наказывалось огромными штрафами. Но и это ни в коей мере не беспокоило Геринга. Он шумно восторгался каждый раз, как приезжал проверить ход работ, сиял, словно ребенок в день рождения, потирал руки и хохотал.

Мебель Геринга соответствовала его объемам. Старинный письменный стол в стиле ренессанс был необъятных размеров, а рабочее кресло с возвышавшейся над головой спинкой больше походило на королевский трон. Возможно, так оно и было. Два серебряных канделябра с огромными пергаментными абажурами, стоявшие на столе, освещали сильно увеличенную фотографию Гитлера. Подаренный фюрером оригинал не показался достаточно величественным, и Геринг приказал его увеличить, а все посетители поражались особой честью, коей, судя по величине портрета, Гитлер удостоил хозяина. В партийных и правительственных кругах прекрасно знали, что Гитлер дарит доверенным соратникам свой фотопортрет одного и того же размера в серебряной рамке, узор которой специально создала фрау Троост.

Огромную картину можно было подтягивать к потолку, дабы открывать специальные окошки в примыкавшую к залу кинопроекторную кабину. Картина показалась мне знакомой. И действительно, как я впоследствии узнал, Геринг, не изменяя присущей ему беззастенчивости, просто приказал «своему» директору Музея кайзера Фридриха привезти в резиденцию знаменитую картину

Рубенса «Диана на оленьей охоте», считавшуюся одним из лучших экспонатов музея.

Пока шла реконструкция, Геринг жил в особняке рейхспрезидента напротив здания рейхстага, построенном в начале XX века в стиле помпезного псевдорозкоко. Здесь мы обсуждали его будущую резиденцию, часто в присутствии одного из директоров Объединенных мастерских герра Пепке, пожилого седовласого господина, искренне старавшегося угодить Герингу, однако трусившего из-за резкости, свойственной Герингу в обращении с подчиненными.

Однажды мы сидели в комнате, стены которой были сверху донизу оформлены аляповатыми рельефными розами неорококо. Даже Геринг понимал, что это квинтэссенция уродства. Однако он спросил Пепке:

– Как вам нравятся эти украшения, герр директор? Неплохо, не правда ли?

Вместо того чтобы прямо сказать: «Они отвратительны», пожилой директор растерялся. Он не хотел портить отношения с могущественным заказчиком и ответил уклончиво. Геринг немедленно учуял шанс подшутить над стариком и подмигнул мне.

– Герр директор! Разве они не прекрасны? Я хотел бы, чтобы вы декорировали все мои комнаты в этом стиле. Мы как раз об этом говорили, не так ли, герр Шпеер?

– Да, конечно. Над эскизами уже работают.

– Замечательно, герр директор. Это будет наш новый стиль. Я уверен, что он вам нравится.

Директор просто корчился от угрызений профессиональной совести и переживаний, на его лбу выступила испарина, а козлиная борода задрожала. Геринг же твердо решил поставить старика в идиотское положение.

– А теперь посмотрите-ка на эту стену повнимательнее. Видите, как, изумительно переплетаясь, эти розы взбираются к потолку? Как будто сидишь в

беседке на свежем воздухе. Неужели подобные произведения искусства не приводят вас в восторг?

– Конечно, конечно, – соглашался доведенный до отчаяния старик.

– Я и не сомневался, ведь вы такой знаток. Скажите– ка, ведь правда прекрасно?

Игра продолжалась долго, пока директор не сдался и не удостоил жуткие розы самой высокой похвалы.

– Вот все они такие! – презрительно скривился Геринг, и, в общем, был прав. Они действительно все были такими, включая самого Геринга. За трапезой он без устали рассказывал Гитлеру, каким светлым и просторным станет его дом, «точно как ваш, мой фюрер».

Если бы по стенам кабинета Гитлера вились розы, Геринг непременно настоял бы на розах и в своем кабинете.

К зиме 1933 года, всего через несколько месяцев после судьбоносного приглашения на обед, меня ввели в ближний круг Гитлера. Приближенных, кроме меня, было очень немного. Гитлер, несомненно, проникся ко мне симпатией, хотя по природе своей я был сдержанным и не очень разговорчивым. Я часто спрашивал себя, не проецировал ли он на меня свои неосуществленные юношеские мечты о карьере великого архитектора. Однако, принимая во внимание тот факт, что Гитлер часто действовал интуитивно, его столь теплое ко мне отношение осталось для меня тайной.

Я все еще был далек от моей будущей приверженности к неоклассицизму. По чистой случайности сохранились некоторые чертежи осени 1933 года. Это был конкурсный проект партийной школы в мюнхенском районе Грюнвальде. К участию в конкурсе пригласили всех немецких архитекторов. В моем проекте уже присутствовала театральность и величественность, но я все еще придерживался строгой чистоты линий, чему научился у Тессенова.

Еще до решения жюри Гитлер, Троост и я просмотрели все конкурсные работы. Чертежи были не подписаны – обязательное условие любого подобного

конкурса. Разумеется, я не победил. После объявления решения, когда инкогнито были раскрыты, Троост приватно похвалил мой проект, и, к моему изумлению, Гитлер вспомнил его в деталях, хотя видел чертежи всего несколько секунд и среди сотни других. Он не присоединился к похвалам Трооста – вероятно, сознавал, как я еще далек от того идеала архитектора, который он создал в своем воображении.

Гитлер ездил в Мюнхен каждые две-три недели и все чаще брал в эти поездки меня. В поезде он обычно с оживлением обсуждал, какие из чертежей профессора уже могут быть готовы. «Думаю, план первого этажа Дома немецкого искусства он уже переработал. Там необходимо было кое-что исправить... Интересно, готовы ли планы оформления столовой. И может, мы увидим эскизы скульптур Ваккерле».

С вокзала он обычно сразу направлялся в студию профессора Трооста, расположенную в грязном заднем дворе на Терезиенштрассе, неподалеку от Высшего технического училища. Мы поднимались на два пролета по темной, давно не крашенной лестнице. Троост, сознававший свой высокий статус, никогда не выходил встречать Гитлера на лестницу и никогда не провожал вниз, когда тот покидал мастерскую. Едва войдя в прихожую, Гитлер обычно восклицал: «Я сгораю от нетерпения, профессор. Есть что-нибудь новенькое? Давайте посмотрим!» И мы врывались в студию, а Троост, хладнокровный и спокойный, как всегда, расстилал свои чертежи и эскизы. Правда, главному архитектору Гитлера везло не больше, чем впоследствии мне, – Гитлер редко демонстрировал восторг.

Затем жена Трооста, фрау профессор, показывала нам образцы тканей и цветовую гамму красок для мюнхенского дома фюрера, сдержанные и изысканные, но, на вкус Гитлера, тяготевавшего к более ярким тонам, слишком скромные. Правда, ему нравилось и это. Спокойная буржуазная обстановка, модная в то время в состоятельных кругах, пришлась ему по душе. Часа через два Гитлер прощался немногословно, но вежливо и отправлялся в свою мюнхенскую квартиру. На ходу он бросал мне несколько слов, вроде «Приходите к обеду в остерию».

В привычное время, где-то около половины третьего, я приходил в остерию «Бавария», облюбованную художниками и благодаря регулярным посещениям Гитлера неожиданно ставшую очень популярной. В таком местечке гораздо

легче было представить за столиком компанию художников, собиравшихся вокруг Ленбаха или Штука, длинноволосых и бородатых, чем Гитлера с его свитой в строгих гражданских костюмах или военной форме. Однако он чувствовал себя здесь непринужденно: как «несостоявшийся художник», он явно любил среду, к которой когда-то стремился, а теперь окончательно и потерял, и перерос.

Довольно часто тщательно отобранным гостям приходилось ждать Гитлера часами. Здесь обычно бывали адъютант Гитлера и одновременно гауляйтер Баварии Вагнер, уже успевший проспаться после ночной пьянки, и, разумеется, постоянный спутник и придворный фотограф Хоффман, уже слегка подвыпивший. Очень часто присутствовала симпатичная Юнити Митфорд[16 - Митфорд Юнити - сестра жены лидера британских фашистов Освальда Мосли. (Примеч. пер.)], а иногда, правда редко, какой-нибудь художник или скульптор. Иногда присоединялся доктор Дитрих, шеф имперской печати, и неизменно - незаметный Мартин Борман, секретарь Рудольфа Гесса. Поскольку наше присутствие в кабачке означало, что ОН обязательно появится, перед остерией собиралось несколько сотен человек.

Под доносившиеся с улицы восторженные возгласы толпы Гитлер проходил в наш обычный уголок, с одной стороны отделенный от зала низкой перегородкой. В хорошую погоду мы обедали в маленьком дворике, слегка напоминавшем беседку. Гитлер весело приветствовал хозяина и двух официанток: «Ну, чем вы нас сегодня порадуете? Равиоли? Ах, как жаль, что они так восхитительны! - Он щелкал пальцами. - У вас все идеально, герр Дойтельмозер, но мне приходится думать о фигуре. Вы забываете, что фюрер не может есть все, что ему нравится!» Затем Гитлер долго изучал меню и заказывал равиоли. Остальные делали заказ по собственному вкусу: отбивные, гуляш и венгерское бочковое вино. Несмотря на то что Гитлер время от времени подшучивал над «трупоедами» и «пьяницами», все ели и пили с аппетитом. В этом тесном кругу все чувствовали себя непринужденно и по молчаливому уговору не упоминали о политике. Единственным исключением была леди Митфорд, которая - даже в моменты максимального обострения международных отношений - постоянно агитировала за свою страну и умоляла Гитлера «делать политику» с Англией. Несмотря на обескураживающую сдержанность Гитлера, она все эти годы не прекращала своих попыток. В сентябре 1939 года, в тот день, когда Англия объявила Германии войну, она стреляла в себя из маленького пистолета в Английском саду Мюнхена. Гитлер поручил ее заботам лучших мюнхенских врачей и, как только здоровье позволило ей выдержать дорогу, отправил ее домой в Англию специальным железнодорожным вагоном через Швейцарию.

Главной темой застольных бесед был утренний визит к профессору Троосту. Гитлер восхвалял увиденное, без труда вспоминая мельчайшие детали. Он относился к Троосту как ученик к учителю, что напоминало мне мое собственное безоговорочное восхищение Тессеновом.

Мне очень нравилась эта его черта. Меня изумляло то, что человек, боготворимый своим окружением, еще способен на благоговение перед кем-то другим. Гитлер, хоть и считал себя архитектором, уважал превосходство профессионала, чего никогда не допустил бы в политике.

Он откровенно рассказывал о том, как Брукманы – культурнейшая семья мюнхенских издателей – познакомили его с Троостом. Он говорил, что произошло, когда он увидел работы Трооста: «С моих глаз словно спала пелена. Я уже не мог выносить то, к чему меня влекло прежде. Какое счастье, что я встретил этого человека!» Оставалось лишь соглашаться. Страшно представить, каким был бы его архитектурный вкус без влияния Трооста. Однажды он показал мне альбом со своими эскизами начала двадцатых годов. Я увидел наброски общественных зданий в стиле необарокко, похожих на то, что было построено в Вене на Рингштрассе в девяностых годах прошлого века. Весьма любопытно, что на страницах альбома его архитектурные опыты часто соседствовали с рисунками оружия и военных судов.

По сравнению с эскизами Гитлера архитектура Трооста была весьма скромной. Впоследствии его влияние на Гитлера практически исчезло. До конца жизни Гитлер восхвалял архитекторов и здания, которые служили ему образцами для тех, первых эскизов. Среди них было здание парижской «Гранд-опера», построенное в 1861–1874 годах Шарлем Гарнье: «Там самая прекрасная в мире парадная лестница. Когда дамы в дорогих нарядах спускаются между рядами лакеев в ливреях... О, герр Шпеер, мы должны построить что-нибудь в таком же духе!» Гитлер восхищался и Венской оперой: «Самое потрясающее оперное здание в мире! Великолепная акустика! В юности я обычно сидел в четвертом ярусе...» Гитлер рассказывал историю о ван дер Нюлле, одном из двух архитекторов Венской оперы: «Он думал, это здание – его величайшая неудача. Видите ли, он был в таком отчаянии, что накануне открытия пустил себе пулю в голову. А торжественное открытие обернулось величайшим успехом, все восхищались архитектором». Подобные замечания часто уводили Гитлера к воспоминаниям о трудных ситуациях, в которые он сам попадал и из которых его в конце концов выручал какой-нибудь счастливый случай. Мораль: «Никогда не сдаваться».

Особенно Гитлер любил творения Германа Гельмера (1849–1916) и Фердинанда Фельнера (1847–1916), в конце XIX века наводнивших Австро-Венгрию и Германию бесчисленными и очень похожими друг на друга театральными зданиями в стиле позднего барокко. Он знал, где находятся все эти здания, и несколько позже приказал восстановить заброшенный театр в Аугсбурге.

Однако он ценил и более строгих архитекторов XIX века, таких, как Готтфрид Земпер (1803–1879), построивший здания Оперы и картинной галереи в Дрездене, императорскую резиденцию Хофбург и дворцовые музеи в Вене, Теофила Хансена (1803–1883), спроектировавшего несколько величественных классических зданий в Афинах и Вене. Как только немецкие войска вошли в Брюссель в 1940 году, меня отправили осмотреть громадный Дворец правосудия архитектора Пуларта (1817–1879), которым Гитлер восхищался, хотя видел его, как, впрочем, и парижскую «Гранд-опера», лишь на чертежах. Когда я вернулся из Брюсселя, он заставил меня подробно описать Дворец правосудия.

Вот такими были архитектурные пристрастия Гитлера, но более всего его притягивало напыщенное нео-барокко – стиль, в котором творил придворный архитектор кайзера Вильгельма II – Ине. В сущности, это было декадентское барокко, как, например, искусство эпохи упадка Римской империи. Таким образом, Гитлер застрял в художественном мире своей юности (период между 1880-м и 1910 годами), наложившем отпечаток не только на его пристрастия в архитектуре, живописи и скульптуре, но и на политические и идеологические концепции.

Гитлеру вообще была свойственна противоречивость пристрастий. Он восторгался венской архитектурой, поразившей его в молодости, и, не переводя дыхания, заявлял:

«Только от Трооста я впервые узнал, что такое архитектура. Как только у меня заходились деньги, я покупал у него что-нибудь из мебели. Я смотрел на его здания, изучал интерьеры лайнера «Европа» и не переставал благодарить судьбу, явившуюся ко мне в образе фрау Брукман и познакомившую меня с великим мастером. Когда у партии появилось больше средств, я поручил ему реконструировать и обставить «Коричневый дом». Вы видели его. Сколько проблем у меня возникло в связи с ним! Мещане из партии полагали, что это пустая трата денег. А как многому я научился у профессора за время реконструкции!»

Уроженец Вестфалии Пауль Людвиг Троост был очень высок и худощав, с наголо выбритой головой, сдержан в разговоре и жестах. Он принадлежал к группе таких архитекторов, как Петер Беренс, Йозеф М. Ольбрих, Бруно Пауль и Вальтер Гропиус, возглавлявших до 1914 года борьбу против слишком декоративного югендстиля и проповедовавших строгость линий, почти полное отсутствие украшений и спартанский традиционализм, в который умело вплетали элементы модерна. Троост иногда выигрывал конкурсы, но до 1933 года не входил в круг ведущих немецких архитекторов.

Несмотря на разглагольствования в партийной прессе о «фюрерском стиле», ничего подобного не существовало. То, что провозгласили официальной архитектурой рейха, представляло лишь неоклассицизм в понимании Трооста: преувеличенный, видоизмененный и иногда искаженный до абсурда. Гитлер высоко ценил непреходящие ценности классического стиля еще и потому, что находил некоторое сходство между дорийцами и его личным ощущением германского мира. Тем не менее попытки искать у Гитлера какой-то идеологически обоснованный архитектурный стиль были бы ошибочными. Это было бы несовместимо с его прагматическим мышлением.

Гитлер неспроста регулярно брал меня на архитектурные консультации в Мюнхен. Наверняка он хотел обратить меня в веру Трооста, и я действительно многому научился у профессора. Усложненный, но в то же время сдержанный стиль моего второго учителя бесспорно оказал на меня влияние.

Вот продолжительная застольная беседа в остерии подходит к концу. «Профессор сказал, что сегодня в доме фюрера обшивают панелями лестницу. Жду не дождусь, когда увижу ее. Брюкнер, пошлите за машиной. Мы поедем туда немедленно. – Фюрер поворачивается ко мне. – Вы с нами?»

Когда мы подъезжаем к дому фюрера, Гитлер бросается на парадную лестницу. Он испытывает ее на спуск, с галереи до нижних ступенек. Затем снова поднимается вверх. В полном восторге он осматривает все здание и опять, изумив всех, демонстрирует доскональное знание самых мелких деталей. Удовлетворенный ходом работ и самим собой как вдохновителем и мотором стройки, он отправляется к следующей цели – жилищу своего фотографа в мюнхенском районе Богенхаузен.

В хорошую погоду кофе у Хоффманов подавали в маленьком – порядка ста восьмидесяти квадратных метров – садике, окруженном садами соседних вилл. Гитлер обычно отказывался от торта, однако не удерживался и, нахваливая фрау Хоффман, разрешал положить кусочек на свою тарелку. Когда припекало солнце, фюрер и рейхсканцлер иногда позволял себе скинуть пиджак и, оставшись в рубашке с короткими рукавами, растянуться на травке. У Хоффманов он чувствовал себя как дома; однажды даже послал за томиком Людвиг Томы и зачитал вслух отрывок.

С особенным нетерпением Гитлер ждал, когда фотограф покажет ему картины, привезенные специально для фюрера. Сначала я был потрясен тем, что Хоффман показывал Гитлеру, и тем, что тот одобрял. Позже я привык к художественному вкусу Гитлера, хотя сам продолжал коллекционировать пейзажи ранних романтиков: Ротмана, Фриза или Кобелла.

Одним из любимых художников как Гитлера, так и Хоффмана был Эдуард Грюцнер, чьи картины с хмельными монахами едва ли были приемлемыми для трезвенника вроде Гитлера. Однако Гитлер рассматривал эти произведения исключительно с «художнической» точки зрения: «Неужели эта картина стоит всего пять тысяч марок? – удивлялся он, хотя рыночная цена была не более двух тысяч. – Да это же просто даром! Посмотрите на эти детали. Грюцнера сильно недооценивают». Следующее произведение Грюцнера стоило ему гораздо больше. «Просто его еще не открыли. Рембрандта тоже не признавали даже через многие десятилетия после его смерти и раздавали его картины практически даром. Поверьте мне, этот Грюцнер когда-нибудь будет стоить не меньше Рембрандта. Сам Рембрандт не смог бы нарисовать лучше».

Конец XIX века Гитлер считал величайшей культурной эпохой в истории человечества, а если это до сих пор не признали, говорил он, то лишь потому, что прошло еще мало времени. Однако его восторги не касались импрессионизма; его напористому подходу к искусству вполне соответствовал натурализм какого-нибудь Лейбля или Томы. Превыше всех он ценил Макарта и хорошо относился к Шпицвегу. В данном случае я вполне мог понять его чувства, хотя он восхищался не столько дерзкой и выразительной манерой письма, сколько обилием бытовых подробностей ограниченного, обывательского мирка и мягким юмором, с которым Шпицвег подсмеивался над провинциальным Мюнхеном своего времени.

Позже, к ужасу фотографа, обнаружилось, что этой тягой к Шпицвегу воспользовался фальсификатор. Гитлер встревожился, не зная, какой из его Шпицвегов подлинный, но быстро подавил все сомнения и не без ехидства заявил: «Знаете, некоторые из Шпицвегов, которые висят у Хоффмана, – фальшивки. Я могу определить это с первого взгляда. Но давайте не будем лишать его удовольствия». Последнюю фразу он произнес с баварской интонацией, к которой часто прибегал, находясь в Мюнхене.

Гитлер любил посещать «Чайную Карлтона» – претендующее на роскошь заведение с мебелью под старину и люстрами из поддельного хрусталя. Там ему нравилось, так как никто его не тревожил, не осыпал аплодисментами и не просил автограф, как обычно случалось в Мюнхене.

Часто мне звонили поздно вечером из квартиры Гитлера: «Фюрер собирается в «Кафе Хека» и просит вас подъехать». Мне приходилось вылезать из постели, и раньше двух-трех часов ночи я не возвращался.

Иногда Гитлер извинялся: «В дни борьбы у меня сложилась привычка бодрствовать допоздна. После съездов я часто сиживал со старыми борцами, к тому же, произнося речи, приходил в такое волнение, что до утра не мог заснуть».

«Кафе Хека», совершенно не похожее на «Чайную Карлтона», могло похвастаться лишь простыми деревянными стульями и железными столами. В этом кафе Гитлер издавна встречался с соратниками по партии. Мюнхенская ячейка столько лет демонстрировала фюреру безграничную преданность, что я ожидал встретить здесь его близких друзей, однако ничего подобного не наблюдалось. Наоборот, когда кто-нибудь из старых товарищей хотел поговорить с Гитлером, он мрачнел и почти всегда умудрялся под различными предложениями избежать общения. Старые соратники не всегда сохраняли почтительную дистанцию, которую Гитлер, несмотря на свою кажущуюся сердечность, считал подобающей его нынешнему положению. Часто они – полагая, что завоевали на то право, – допускали фамильярность, не соответствующую той исторической роли, которую отводил себе Гитлер.

В исключительно редких случаях Гитлер посещал кого-нибудь из старых партийцев, которые уже успели получить важные посты и приобрести роскошные особняки. Единственной общей встречей были празднования годовщин путча 9 ноября 1923 года в знаменитой пивной «Бюргерб-ройкеллер».

Как ни странно, Гитлера они не радовали – эти мероприятия его явно тяготили.

После 1933 года быстро сформировались многочисленные соперничающие и шпионившие друг за другом фракции. В партии воцарилась атмосфера взаимного презрения и неприязни. Вокруг каждого нового сановника немедленно спланировалась группа приближенных. Гиммлер, например, общался почти исключительно со своими эсэсовцами, у которых он пользовался безоговорочным уважением. У Геринга была своя клика некритичных поклонников, состоявшая отчасти из членов семьи, отчасти из ближайших сотрудников и адъютантов. Геббельс непринужденно чувствовал себя в компании литераторов и кинодеятелей. Гесс занимался проблемами гомеопатической медицины, любил камерную музыку и имел чудаковатых, но интересных знакомых.

Геббельс, почитавший себя интеллектуалом, свысока взирал на неотесанных мюнхенских буржуа, а те в свою очередь издевались над литературными амбициями доктора философии. Геринг не считал достаточно благородными и мюнхенских обывателей, и Геббельса, а потому старательно избегал всякого общения с ними. В то же время Гиммлер, уверовавший в элитарную миссию СС и одно время тяготевший к сыновьям князей и графов, чувствовал себя гораздо выше всех прочих. У Гитлера была своя свита, неизменная и повсюду следовавшая за ним: шоферы, фотограф, пилот и секретари.

Только личность Гитлера объединяла эти политиканские группки. Даже через год после его прихода к власти, если Гиммлер, Геринг и Гесс и собирались за обеденным столом фюрера или на его киносеансах, то лишь для того, чтобы добиться благосклонности Гитлера, так что ни о каком подобии «общества» нового режима или о дружеских отношениях внутри партийной верхушки не было и речи.

Правда, Гитлер и не поощрял связей между партийными лидерами. Наоборот, в более поздние годы, чем более критической становилась ситуация, тем подозрительнее он относился к их попыткам сблизиться. Только когда война закончилась, уцелевшие лидеры этих изолированных мирков встретились, хотя и не по своей воле, в американском плену, в одном из отелей Люксембурга.

Находясь в Мюнхене, Гитлер уделял мало внимания государственным и партийным делам, даже еще меньше, чем в Берлине или Оберзальцберге. Обычно на совещания отводилось лишь час-два в день. Большую часть времени

он проводил на строительных площадках, в художественных студиях, кафе и ресторанах или же раздражался длинными монологами перед своими спутниками, которые уже были сыты по горло неизменными темами и мучительно пытались скрыть скуку.

Через два-три дня пребывания в Мюнхене Гитлер обычно приказывал готовиться к поездке на «гору» – Оберзальцберг. В нескольких открытых автомобилях мы ехали по пыльным дорогам. Автострада до Зальцбурга в те дни только строилась среди первоочередных объектов. Обычно кортеж останавливался у деревенского кафе в Ламбахеум-Химзе. Там подавали изумительные пирожные, перед которыми Гитлер не мог устоять. А затем пассажиры всех автомобилей, кроме первого, еще два часа глотали пыль. За Берхтесгаденом начиналась крутая, вся в рытвинах дорога, ведущая к милому деревянному домику с нависающей крышей на Оберзальцберге. Скромный домик – столовая, маленькая гостиная и три спальни – был обставлен в старонемецком крестьянском стиле, что создавало уютную, мещанскую атмосферу. Медная клетка для канарейки, кактус и фикус усиливали это впечатление. На безделушках и вышитых поклонницами подушках свастика перемежалась с восходящим солнцем и клятвами в «вечной преданности». Гитлер как-то смущенно сказал мне: «Я знаю, что эти вещи некрасивы, но многие из них – подарки. Я не хотел бы с ними расставаться».

Вскоре он возвращался из спальни, переодевшись в баварскую льняную голубую куртку, которую носил с желтым галстуком, и часто принимался обсуждать свои строительные планы.

Несколько часов спустя маленький «мерседес»-седан доставлял двух секретарш, фрейлейн Вольф и фрейлейн Шредер. С ними обычно приезжала простая мюнхенская девушка. Она была мила, скорее свежа, чем красива, и скромна. Невозможно было предугадать в ней будущую любовницу правителя. То была Ева Браун.

Этот седан никогда не сопровождал официальный кортеж, чтобы его не связывали с Гитлером. Я только удивлялся тому, что Гитлер и Ева Браун старались не афишировать своих близких отношений. На мой взгляд, в этом не было необходимости, ведь поздно вечером они вместе поднимались в спальни, и ближайшее окружение не могло не знать правды.

Ева Браун сохраняла дистанцию и в отношениях со всеми приближенными Гитлера, и даже применительно ко мне ее позиция изменилась лишь по прошествии многих лет. Когда мы познакомились поближе, я понял, что за ее сдержанностью, которую многие считали высокомерием, скрывалось смущение; она прекрасно сознавала двусмысленность своего положения в окружении Гитлера.

В первые годы нашего знакомства в домике жили лишь Гитлер, Ева Браун, адъютант и камердинер. Пятеро-шестеро остальных гостей, включая Мартина Бормана, шефа печати Дитриха и обеих секретарш, останавливались в соседнем пансионе.

Решение Гитлера обосноваться в Оберзальцберге, как я думал, свидетельствовало о его любви к природе, однако я ошибался. Гитлер действительно часто восхищался прекрасными видами, но, как правило, его больше влекли приводящие в трепет пропасти, чем гармония пейзажей. Возможно, его чувства были глубже, чем он демонстрировал. Я заметил, что ему мало нравились цветы, – он видел в них просто элементы убранства. Где-то году в 1934-м делегация женской организации Берлина планировала встречу Гитлера на Ангальтском вокзале. Секретарь организации позвонила Ханке, бывшему тогда секретарем министерства пропаганды, и спросила, какие любимые цветы Гитлера. Ханке обратился ко мне: «Я всех обзвонил, я расспрашивал адъютантов. Безрезультатно. У него нет любимых цветов... А что думаете вы, Шпеер? Может, скажем, эдельвейс? Во-первых, он редок, а во-вторых, растет в Баварских горах. Давайте так и скажем – эдельвейс!» С тех пор эдельвейс стал официальным «цветком фюрера». Этот инцидент показывает, какую бесцеремонность партийная пропаганда иногда допускала в формировании образа Гитлера.

Гитлер часто рассказывал о горных походах, которые он совершал в прошлом. Правда, с точки зрения альпиниста, в них не было ничего особенного. Гитлер отвергал и альпинизм, и горнолыжный спорт. «Какое удовольствие в том, чтобы искусственно продлевать ужасную зиму, забираясь в горы?» – говорил он. Его неприязнь к снегу неоднократно прорывалась задолго до катастрофической военной кампании зимы 1941/42 года. «Будь моя воля, я запретил бы эти виды спорта, так как они изобилуют несчастными случаями. Разумеется, именно из таких дураков пополняются новобранцами горные войска».

Между 1934-м и 1936 годами Гитлер часто гулял по тропинкам общественного леса в сопровождении гостей и четырех агентов в штатском из его личной охраны СС. В таких случаях Еве Браун дозволялось сопровождать его, но только вместе с обеими секретаршами и в хвосте группы. Если Гитлер, шествовавший впереди, подзывал кого-нибудь, это считалось признаком особой благосклонности, хотя беседу нельзя было назвать оживленной. Собеседников Гитлер менял примерно через каждые полчаса. Например, он говорил: «Пришлите ко мне шефа печати», – и нынешний собеседник отправлялся в арьергард. Гитлер ходил быстрым шагом. Часто нам встречались другие гуляющие. Они немедленно останавливались на обочине и с благоговением приветствовали Гитлера. Некоторые – обычно девушки или женщины – набирались храбрости и заговаривали с Гитлером. В ответ они непременно слышали несколько приветственных слов.

Целью прогулки часто бывал «Хохленцер», маленький трактир в горах примерно в часе ходьбы от дома. Там мы садились за простые деревянные столы на свежем воздухе и выпивали по кружке молока или пива. Реже мы совершали более дальние прогулки. Я помню одну из них с генералом фон Бломбергом, главнокомандующим армией. У нас создалось впечатление, что обсуждались серьезные военные проблемы, так как всем остальным пришлось держаться вне пределов слышимости. Даже когда мы остановились отдохнуть на лесной поляне, Гитлер приказал слуге расстелить одеяла для себя и генерала на значительном расстоянии от нас, и казалось, что они просто мирно отдыхают.

В другой раз мы поехали на машине в заповедник Кёнигзее, а оттуда на моторной лодке к полуострову Бартоломе, и еще как-то шли в Кёнигзее три часа пешком через Шаритцкель. В конце того похода пришлось продираться через толпы местных жителей, которых выманила на воздух прекрасная погода. Интересно, что многие не сразу узнавали в баварском крестьянине Гитлера: вряд ли кто ожидал увидеть его среди пеших туристов. Однако перед самым рестораном «Шиффмайстер» нас стала наступать взволнованная толпа, запоздало осознавшая, кто же им встретился. Почти бегом, с Гитлером во главе, мы едва успели добраться до двери прежде, чем нас окружили. Пока мы пили кофе и ели пирожные, большая площадь перед рестораном заполнилась людьми. Гитлер дождался полицейского подкрепления и вошел в открытый автомобиль, который пригнали сюда для нас. Переднее пассажирское сиденье было сложено. Положив ладонь на ветровое стекло, Гитлер встал рядом с шофером, чтобы всем было его видно. Два охранника зашагали впереди машины, три или больше с каждой стороны, и автомобиль тихонько двинулся через толпу. Я, как обычно, устроился на откидном сиденье за спиной Гитлера и

наблюдал за незабываемым всплеском ликования, светившегося на столь многих лицах. Куда бы ни приезжал Гитлер в первые годы своего правления, где бы хоть ненадолго ни останавливался его автомобиль, подобные сцены повторялись. Причиной массового ликования были не речи и не результат пропаганды, а просто присутствие Гитлера. Если отдельные индивидуумы в толпе поддавали под это воздействие всего на несколько секунд, сам Гитлер постоянно оставался объектом массового поклонения. И, несмотря на это, в личной жизни он сохранял простоту, тогда меня восхищавшую.

Не стоит удивляться тому, что и меня захватывали эти бурные проявления преклонения. Но еще сильнее ошеломляла возможность через несколько минут или несколько часов беседовать с национальным идолом, обсуждать с ним строительные планы, сидеть рядом с ним в театре или есть равиоли в остерии. Именно этот контраст и победил меня.

Всего несколько месяцев назад я мечтал проектировать и строить здания. Теперь я полностью поддался чарам Гитлера, подпал под его влияние бездумно и безоговорочно. Я был готов следовать за ним куда угодно, но он интересовался мной лишь в качестве будущего знаменитого архитектора. Много лет спустя в Шпандау я прочитал мнение Эрнста Кассирера о людях, которые по собственной воле отказываются от высшей привилегии человека – быть независимой личностью[17 - В «Мифе государства» (Йель Университи Пресс. Нью-Хейвен, 1946. С. 286) Эрнст Кассирер пишет: «И вот мы видим людей, образованных и интеллигентных, честных и справедливых, которые неожиданно отказываются от этой высшей человеческой привилегии. Они теряют свободу и индивидуальность». И ранее: «Человек перестает задавать вопросы окружающей среде; он принимает ее как само собой разумеющееся»]. И вот я стал одним из них.

В 1934 году случились две смерти, определившие мою личную и политическую судьбу. 21 января после нескольких недель тяжелой болезни скончался архитектор Гитлера Троост, а 2 августа – рейхспрезидент фон Гинденбург, смерть которого расчистила Гитлеру путь к абсолютной власти.

15 октября 1933 года Гитлер торжественно заложил первый камень Дома немецкого искусства в Мюнхене и совершил церемониальные удары красивым серебряным молотком, который Троост спроектировал специально для этого дня. Однако молоток сломался. А через четыре месяца Гитлер сказал нам: «Когда молоток сломался, я сразу понял, что это дурное предзнаменование.

Архитектору суждено умереть». Я лично был свидетелем нескольких примеров суеверия Гитлера.

Я тяжело переживал смерть Трооста. Между нами только-только начали устанавливаться близкие отношения, и я уже предвидел, как много почерпну из них и в человеческом, и в художественном плане. Функ, в то время статс-секретарь в министерстве пропаганды Геббельса, отнесся к этому иначе. В день смерти Трооста я столкнулся с ним в приемной Геббельса. «Поздравляю! Теперь вы первый!» – сказал он, не вынув изо рта длинной сигары.

Мне было двадцать восемь лет.

5. Архитектурная мегаломания

Некоторое время казалось, будто Гитлер сам намеревается возглавить мастерскую Трооста. Он опасался, что незавершенный проект будет разрабатываться без должного понимания концепции покойного архитектора. «Я сам справлюсь лучше», – заметил он, и в конце концов это выглядело не более странно, чем его более позднее решение взять на себя верховное командование армией.

Несомненно, он несколько недель упивался возможностью возглавить налаженную работу архитектурного бюро. По дороге в Мюнхен он, бывало, готовился к этой роли, обсуждая проекты или делая наброски, а несколько часов спустя сидел за кульманом руководителя, корректируя чертежи. Однако руководитель бюро Галль, скромный баварец, отстаивал творение Трооста с неожиданным упорством. Он не принимал тщательно детализированные эскизы Гитлера и доказывал, что сам может сделать гораздо лучше.

Гитлер проникся к нему доверием и вскоре молчаливо отступился от своей идеи. Он признал профессионализм Галля, а через некоторое время назначил его директором бюро и поручил новые проекты.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

С этим поразительным неведением связаны две недавние публикации. Одна, «Истребление голландских евреев», написана Якобом Прессером, который сам был узником концлагеря. Другая – статья Луи де Йонга, директора Голландского института военной документации. Она озаглавлена «Голландцы и Освенцим» и появилась в январском сборнике «Vierteljahrshefte» («Квартальным тетрадей») 1969 г. Мюнхенского института современной истории.

2

В течение шести столетий, начиная с 1192 года, рейхсмаршалы из рода фон Паппенхаймов служили генерал-квартирмейстерами германской армии. К тому же они были начальниками полевой жандармерии и отвечали за военные дороги, транспорт и здоровье солдат. (См.: Bosl K. Die Reichsmmisterialitat. Darmstadt, 1967.)

3

Югендстиль – германский модерн. (Примеч. пер.)

4

В 1917 г. из-за тяжелых потерь пришлось отказаться от использования цеппелинов в воздушных налетах.

5

Замечания о музыке и литературе, об оккупации Рура и инфляции взяты мною из писем, которые я писал в то время моей будущей жене.

6

Все цифры в дойчмарках не учитывают реформы марки 1969 г. Читатель легко может подсчитать эквивалент в долларах США, разделив количество дойчмарок на четыре.

7

Это и следующее утверждения цитируются по неопубликованным запискам Вольфганга Юнгермена, посещавшего лекции Тессенова с 1929-го по 1932 г.

8

Цитируется по памяти.

После 1933 г. Тессену припомнили все обвинения, выдвинутые против него на том собрании, равно как и связь с издателем Кассирером и его окружением. Тессенова объявили политически неблагонадежным и отлучили от преподавания. Однако благодаря своему привилегированному положению я сумел убедить министра образования восстановить профессора в должности. До конца войны он руководил своей кафедрой в Высшем техническом училище Берлина. В 1950 г. Тессенов написал моей жене: «С 1933 года Шпеер стал мне совершенно чужим, но я всегда считал его тем благожелательным человеком, которого знал прежде».

10

Баухауз – созданное Гропиусом в 1919 г. и закрытое пришедшими к власти нацистами Высшее художественно-производственное учебное и научно-исследовательское учреждение. (Примеч. пер.)

11

Доктором в партийных кругах всегда называли Геббельса. Не так уж много докторов философии было в те дни среди членов партии.

12

Джеймс Джинс – английский астрофизик и популяризатор науки. (Примеч. пер.)

Грюндерство – массовая лихорадочная организация предприятий, акционерных обществ, банков и т. п., сопровождаемая биржевыми спекуляциями, нездоровым ажиотажем и жульническими махинациями финансовых дельцов. (Примеч. пер.)

Особенно в первые годы пребывания у власти Гитлер достигал успехов главным образом благодаря использованию уже существовавших структур. В государственном аппарате по-прежнему трудились старые чиновники, и они же частично решали задачи управления производством, а военных лидеров Гитлер находил среди элиты старой имперской армии и рейхсвера. Неудивительно, что и позже (после того, как я ввел принцип личной ответственности в промышленности) поразительного роста выпуска военной продукции после 1942 г. достигали руководители, пользовавшиеся заслуженной репутацией еще до 1933 г. Важно отметить огромные успехи, достигнутые с помощью сочетания старых, проверенных структур и тщательно отобранных из них чиновников с новой системой Гитлера, однако неустойчивость этой гармонии не подлежит сомнению. Максимум через поколение старая гвардия была бы заменена новыми лидерами, воспитанными согласно новым образовательным принципам в школах Адольфа Гитлера и в «орденсбурген» («орденские замки») – закрытых полувоенных учебных заведениях, целью которых была подготовка нацистской элиты. Даже в партийных кругах многих выпускников этих учебных заведений считали слишком жестокими и высокомерными.

Из членов партии только Гитлер носил золотой значок верховной власти – орла со свастикой в когтях. Все прочие носили круглые партийные значки со свастикой. В остальном пиджак Гитлера ничем не отличался.

16

Митфорд Юнити – сестра жены лидера британских фашистов Освальда Мосли.
(Примеч. пер.)

17

В «Мифе государства» (Йель Университи Пресс. Нью-Хейвен, 1946. С. 286) Эрнст Кассирер пишет: «И вот мы видим людей, образованных и интеллигентных, честных и справедливых, которые неожиданно отказываются от этой высшей человеческой привилегии. Они теряют свободу и индивидуальность». И ранее: «Человек перестает задавать вопросы окружающей среде; он принимает ее как само собой разумеющееся».

Купить: <https://tellnovel.com/albert-shpeer/tretiy-reyh-iznutri-vozpominaniya-reyhsmministra-voennoy-promyshlennosti-1930-1945-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)